

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин

1

ЖУРНАЛИСТ ГЛЕБ ФОКИН ОТПРАВЛЯЕТСЯ

В ЗАГАДОЧНУЮ, ПОЛНУЮ ЧУДЕС,

НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖУЮ СТРАНУ

Двадцатого февраля в 13 часов 40 минут я ступил на землю только что открытой мной Японии. Обнаружил я эту страну случайно, когда самолет летел над тусклым щитом океана. Я мог бы написать, как Америго Веспуччи:

"...я обнаружил материк, где некоторые долины гораздо гуще населены людьми и животными, нежели в нашей Европе, Азии, Африке, к тому же там более приятный и мягкий климат, чем в других знакомых нам частях света".

Никто до меня в Японии никогда не бывал. Я выяснил это перед отъездом. Никто из моих родных, ни Игорь, ни Владимир Яковлевич, который исходил даже Курилы, ни моя жена, ни дочь, которая отправлялась каждый выходной невесть куда. Я был первый из знакомых и близких мне людей, попавший в Японию.

Сверху, с летящего самолета, Япония выглядела маленькой, совсем как на глобусе. Караван вытянутых островов тянулся по воде, и было невозможно представить, как на этих буграх умещается сто миллионов человек с домами, пагодами и рисовыми полями. По шершавому морю ходили пароходы, разные корабли, моря было много, и оно единственное с высоты не казалось игрушечным.

Когда самолет стал снижаться, появились подробности: черный остров превратился в небесно-голубой – это были крыши. Ни разу еще я не видел таких синих крыш. Лазурная черепица светилась и блестела, как будто мы спускались не на землю, а на небо. Китай назывался когда-то Небесной империей. Но я понял, что это ошибка. Имелась в виду Япония. Древние воздухоплаватели приняли Японию за Китай.

Это было мое первое открытие. Легче всего делать открытия, пока ничего не знаешь о стране. Я совершил поначалу немало таких открытий. Самое из них важное произошло в те минуты, когда я медленно спустился по трапу и встал на бетонные плиты аэродрома Ханэда – я открыл в себе путешественника, который попал в никому не известную, загадочную страну.

Не так-то просто стать Первооткрывателем, не имея компаса, карт, снаряжения, проводников, разъезжая в автомобиле, живя в отеле с телевизором и ванной, выложенной черным изразцом.

Но у меня были разные воодушевляющие примеры. Среди них самый убедительный – Аркадий Гайдар. Он умел войти в состояние путешественника в двух шагах от своего дома. У него есть рассказ "Голубая чашка", там он описывает путешествие в окрестностях дома, где он жил; он отправился с девочкой на обычную прогулку и увидел привычный, казалось бы, стертый от ежечувственности мир глазами путешественника, попавшего в неведомые и дальние страны. Рядом с домом была неизвестность. Так видеть и ощущать умеют только дети. И хорошие писатели. Сколько раз мне хотелось вот так же пуститься в путь по Ленинграду, по Нарвской заставе, удивиться, увидеть все иным, испытать приключения чужеземца. В Японии мне помогло то, что все тут говорили и писали по-японски. Это было весьма важное обстоятельство. В Америке, например, там говорят и пишут по-английски, но там хоть что-то можно понять; "restaurant" или "cigarette", а кроме того, "thank you", "good bye" – тоже можно догадаться. Здесь же все было начисто непонятно. Повсюду висели иероглифы. Между прочим, это такие знаки, что даже вполне образованный японец не знает всех иероглифов. Их тысячи. А может, десятки тысяч. Может, их даже некому в точности подсчитать. У нас, наверное, насчет надписей тоже многовато, но на них большей частью не обращаешь внимания:

"Выписывайте газеты и журналы", "Пожарный гидрант", "Кассир справок не дает". А если это же, да иероглифами? Тут любая надпись станет опасно существенной. Кто знает, о чем она сообщает, то ли "Добро пожаловать", то ли "Вход воспрещен".

Приходилось полагаться только на свои чувства и наблюдательность. Я шел по Гиндзе, как охотник сквозь джунгли, оглядываясь, приносиваясь и на всякий случай

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru улыбаясь. Надеяться было не на кого, я должен был все признавать сам, догадываться по каким-то ничтожным деталям. Зато у меня было и преимущество: никакие слова и надписи не могли обмануть меня. Меня легко уговорить, а еще больше я верю печатному слову. Тут же я видел все, так сказать, в неистолкованном виде. Грязь и мусор на маленьких улочках, расширенные зрачки наркоманов... Забегаловка напротив отеля была никудашная, а на вывеске и каких-то венках с лентами она расписывалась, вероятно, как образец японской кухни. Ничто не мешало мне составить собственное мнение о твердости жилистого мяса и недоваренной лапши. Чужие суждения не путали картину. Иногда от такой свободы даже становилось неуютно. Потому что я все-таки не привык судить обо всем сам, один.

Осторожно я двигался, стараясь держаться толпы, быть вместе со всеми, останавливался, где останавливались другие, делал все как все. Я чувствовал себя разведчиком, заброшенным на другую планету, и ничем не выдавал своего присутствия.

Из того, что я видел, я сочинял себе свою Японию, не то чтоб я ее придумывал, я пользовался тем, что было передо мною, - соединял, выстраивал... На перекрестке Гиндзы, у кинотеатра, горело световое табло, на табло выскакивали цифры - 75, 81, 86, 70. Перед табло стоял я, пытаюсь уразуметь, что сие означает.

Сыпал мелкий снежок, по Гиндзе бежали ребята с лыжами на плечах. Где-то, значит, были тут и снежные горы, и трамплины, а здесь снег таял, не долетая до земли, люди шли под зонтиками, синими, розовыми, с нарисованными бабочками и змеями. Я не видел лиц с высоты своего роста, а видел лишь колыхание и движение зонтов - пестрые огромные цветы, которые распускались под снегом. Слякотная, самая что ни на есть питерская погодка стала таинственной и зыбкой, как на картинах Хокусаи. Люди, которые скрывались под этими зонтами, были тоже загадочны. Мне совсем не хотелось проникать в их жизнь, мне нравилась мелкая, скользкая походка женщин, стук деревянных сандалет белые носочки с пальчиком, печальный блеск черных глаз из-под голубого купола зонта, мужчины в черных прямых пальто, их тонкие гибкие пальцы, эта сырая зябкость чужой непогоды... Я дрожал от холода. Меня уверяли, что в Японии цветут вишни и сливы, а под ними сидят японцы и обмахиваются от жары веерами. Поэтому меня нагрузили плавками, черными очками шортами и безрукавками. Большинство людей считает что чем дальше страна, тем в ней теплее, что в Южной Америке жарче, чем в Северной, а в Японии вообще солнце только и делает, что всходит. Я давно заметил, что больше всего знают о той стране, в которой никто не был. Игорь, например, заставил меня взять с собой кепку, мохнатую толстую кепку, чтобы защититься от солнечного удара.

Теперь я стоял на Гиндзе, защищенный этой кепкой, единственной своей теплой вещью, толстой кепкой, которая заменяла мне зонт, свитер и ботинки на каучуке. Меня интересовало, почему на табло сменяются цифры. Никакой системы в этом не было. Что-то они показывали, но что? Число прохожих? Я пробовал подсчитать. Не сходилось. Пешеходы текли густой толпой, и какой смысл их считать.

Толпа на Гиндзе не убывала. В первый же вечер Гиндза ослепила и оглушила меня. В ней была огромность всего - света, сутолоки, ширины, возбуждения. Великолепные многоэтажные универмаги и крохотные лавочки, которые заполняли каждую щель и каким-то образом тоже дополняли чувство громадности. Высоко в небе происходила битва, какой-то шабаш рекламных огней. Устраивались хитроумнейшие светопредставления, фирмы твердили на всякий манер свои названия, изображали свои товары. Grown, Sony, Nis-san - вверх, вниз, кувырком, то вдруг рассыплются, соберутся. Живые картины из неона опоясывали башня из стекла и бетона. Действо это творилось не на каком-нибудь пяточке, а длилось квартал за кварталом, занимая длинный проспект, захватывая узкие боковые улочки, где было еще светлее, многолюднее, многоцветнее, и это тоже была Гиндза. Пожалуй, она была обширней и ярче Бродвея.

Больше всего я боялся заблудиться. Названий улиц нет, номера домов не подчинялись никакому порядку. Гиндза - это целый район: удаляясь от отеля, я пытался ставить крестики на домах, чем вызвал острый интерес полицейских. Тогда я решил осваивать местность радиальным способом: пройти немного вперед и вернуться тем же путем, затем продвинуться дальше и опять назад. Вправо и назад, влево и назад. Примерно как Робинзон. Всякий раз я находил на своем пути что-то новое. Я обнаружил крохотную закусокную, где еле могли уместиться три человека. Под железнодорожным мостом, в темноте, двое парней продавали пистолеты, то ли игрушечные, то ли настоящие, не разобрать. Я добрался до хвоста какой-то

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
очереди, состоящей главным образом из девочек. Очередь сворачивала за угол и
опять за угол. Девочки, им было по пятнадцать-семнадцать лет, раскладывали
тюфячки, располагаясь на ночь. Рискнув, я зашагал вдоль их воробьиного щебета,
вдоль строя их нейлоновых стеганок, платочков, вдоль круглых, красных от холода
мордашек, милых, разных, отвечающих на мое глазенье, на мою чудо-кепку смешливым
блеском узких глаз. Голова очереди упиралась в подъезд концертного зала, где
утром должны были продавать билеты на выступление американских певцов. На
фотографии были изображены три женоподобных длинноволосых парня с гитарами. Я
позавидовал их славе. Утром я встретил их в отеле. Они, скучая, слонялись перед
витринами подвального магазина, разглядывая украшения из жемчуга, а я
разглядывал их, но, поскольку это было бесплатно и без очереди, зрелище это не
доставило мне удовольствия.

Наступил час, когда я решил пересечь улицу и направиться за угол, к дальнему
перекрестку, давно манившему меня непонятными белыми листами, под которыми
сидели люди.

Это оказались хироманты. На белых листах были нарисованы типовые ладони с
линиями ума, жизни и любви. С бугорками Венеры, Минервы, разными формами
пальцев... Хироманты – бедные, захудалые родственники процветающих футурологов.
Глаза пожилой хиромантки слезились. Кутаясь в затрепанное хаори, она выделила
меня из толпы и усмехнулась затаенно и величественно. Перед ней стоял
лакированный черный ящик. Типовые ладони на таблицах выглядели вполне научно, по
ним можно было не гадать а вычислять с точностью до миллиметра, что и когда
случится.

Я нащупал в кармане деньги и покорно протянул ей ладонь. Кто знает, что
находилось в черном ящике, – может, компьютер, может, в этой стране
первоклассной электроники и всякой точной механики судьба была "как на ладони".
Хиромантка и так, и этак мяла мою ладонь и что-то приговаривала. По морщинам ее
орехового лица я тем временем читал ее собственное прошлое и будущее. Это была
довольно простая и грустная повесть. Хиромантка взволновалась – кажется, меня
ждали невероятные события. Какие – она и сама не могла разобраться. Она
развеселилась и подозвала своего соседа, продавца кроликов, оба они склонились
над моей ладонью. Судя по таблице, ладонь моя соответствовала девятому номеру.
Одна линия, правда, загибалась не туда. Вся надежда была на эту линию. Я был рад
ее непредвиденному повороту – будущее хотя бы отчасти должно оставаться
неизвестным. Зачем мне знать, что ждет меня за углом? Важно, что меня что-то
ждет, что-то забавное, странное... Я понял, что должен быть готов к своей
судьбе. И с этой минуты ожидание невероятного сопровождало меня, усиливая
удивительность того, что я видел.

У меня был крохотный номер с крохотным душем и умывальником, с большим
телевизором, который включался, когда в автомат опустишь сто иен, с окном, из
которого была видна лишь стена и в ней окно такого же номера, где жил какой-то
спортсмен. Утром я съedal банан, выпивал чашечку зеленого чая с сыром и уходил
на свидание с нетерпеливо ждущей меня неизвестностью.

Кроме наземного Токио, существовал подземный, с тесным метро, с магазинчиками,
закусочными, ресторанами; еще существовал воздушный, приподнятый на бетонных
столбах, рокадные дороги, грохочущие эстакады. В этом приподнятом над землей
Токио люди проводили время в машинах и вагонах. Заточенные в железные коробки,
они день и ночь безостановочно кружились по бетонным орбитам. Главным образом
для того, как объясняли мне местные журналисты, чтобы скорее износить свои
машины.

- То есть как это? – недоумевал я.

- Очень просто – износить машину, чтобы купить новую машину.

Журналисты время от времени сопровождали меня по всяким редакциям, молодежным
клубам, издательствам, где мы устанавливали контакты, выясняли отношения,
занимались деловой частью моей поездки. Со злостью и насмешками показывали они
мне обязательную Японию – широко известную, выставленную напоказ, размноженную
на великолепных открытках – объемных, стереоскопических, подмигивающих, Японию,
экспонированную на международных выставках, сидящую в чайных домиках... Они
терпеть ее не могли. Они были отчаянные профанаторы, иронисты и еретики.
Особенно отличался маленький Ямаи-сан. Он утверждал, что я попал в страну
безумия и абсурда. В этой Абсурдии все заняты куплей и продажей. Если японец не
едет в машине, то он что-либо покупает. Если же он не покупает, то он продает.

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Япония состоит из лавочек, магазинчиков, киосков, ресторанчиков, рынков, автоматов, универмагов, они повсюду, им нет конца. Кажется, их пока что меньше, чем людей, но наверняка больше, чем домов. Установлено, что японская женщина смотрит телевизор на два часа больше, чем самая смотроспособная американская. На восьми или девяти телевизионных каналах ей объясняют, что необходимо еще купить. Какие холодильники, морозильники, вертолеты. Таким образом, когда японец ничего не покупает, и не продает, и не едет в машине, то он сидит перед телевизором и смотрит рекламу. Время от времени передачи зачем-то прерываются фильмами, стрельбой, гонками и прочей интеллектуальной мурой. Ночью этому японцу снятся новые вещи. Сны приятные и красивые, как универмаги.

Есть ли большая радость, говорил Ямаи, чем ходить по универмагам и выбирать вещи! Покупая, чувствуешь себя свободным. Семьдесят сортов подтяжек. А там еще шестьдесят. Полная свобода выбора. Можно выбирать часами – такой простор, столько возможностей проявить свой вкус и свои принципы. Захочу и куплю не зеленые подтяжки, а в полоску. Могу купить не здесь, а пуститься по магазинчикам или поехать в Уэно. И повсюду вам будут улыбаться, любить вас, повсюду вы будете желанным. Миллионы покупателей замороченно кружатся опьяненные, как наркоманы; их обирают, обманывают, они ничего не замечают...

Он иронизировал, издевался, преувеличивал, но он любил свою страну. За горечью его насмешек угадывалась и другая Япония. Она хранилась внутри этой сумасшедшей карусели, как сказочный ларец за семью печатями.

В писчебумажном магазине на полках лежали стопки бумаги. Мне надо было купить просто бумагу для писем. Но просто бумаги не было. Вся бумага была разной. Я перебирал шелковисто-лиловую, с атласно-тисненными листами клена, мохнато-серую, песочную, края рваные, края с темным отливом, бумагу с водяными знаками, с еле видимыми рисунками, бумагу тончайше-прозрачную, шершавую... Я растерялся среди этих десятков, а может, сотен сортов. Выбор был действительно удручающе велик. Но это был не просто выбор. Мне пояснили: вот это бумага – для деловых писем, это – для писем друзьям, на этой пишут женщинам, на той лучше писать зимой, а на этой печальные сообщения. Присматриваясь, я и в самом деле что-то такое начинал различать. Воспитанная веками культура чувств слегка приоткрылась передо мною через эти обыденные предметы.

Наверное, я купил бумагу для писем в дождливую погоду, ничего шутивно-беспечного не получалось.

"Когда ты далеко, я лучше тебя вижу; кажется, что я приехал сюда, на край света, ради того, чтобы увидеть пас обоих. Японию откроют и без меня. Сейчас модно писать про Японию. Но открыть в ней что-либо можно, по-видимому, лишь открывая что-то в себе самом. А это трудно. Легче заниматься чужими душами, чем собственной..."

Как-то под вечер я попал в огромный универмаг. Девушка у эскалатора радостно поклонилась, приветствуя мое появление. Она приветствовала каждого входящего, это была ее работа, но мне было наплевать, я не собирался ни с кем делиться ее улыбкой и нежными словами, которые она сказала мне. Эскалатор поднимал меня этаж за этажом мимо расшитых кимоно, харэги, коэнсита, золотистых татами, низких лакированных столиков, обеденных сервизов, игрушек, велосипедов, бамбуковых спиннингов, роскошных часов, и вдруг из этого мира новеньких, новейших, самых модных вещей, пахнувших краской, блистающих никелем, нетронутой чистотой, я попал в старое, поношенное, захватанное и поразительно знакомое. Это были вещи моего детства. Первые вечные ручки – толстые, тяжелые, из пластмассы в мраморных разводах. Граммофонные пластинки "Виктория": "Голос его хозяина" – и нарисована собачка перед граммофоном. Сами граммофоны с большими зеленоватыми трубами, деревянными инкрустированными ящиками. Шелковые цилиндры на белой подкладке. Тяжелые карманные часы с цепочками. Старомодные коньки. Детекторные приемники со множеством эбонитовых ручек. Сахарные щипцы. Лорнетки. Тут не было ничего антикварного, самые обычные бытовые вещи наших отцов и бабушек – корсеты, телефонные аппараты с кнопками, ридикюли, гамаши, большие роговые гребни, ручные швейные машины. Были тут и чисто японские старые вещи: игральные карты, где вместо мастей разные растения, соломенные шляпы, веера, какие-то трубки, шашки...

Вещи радовали прежде всего узнаванием. Сразу вспоминались комоды, шифоньеры, полузабытые дома, и люди, и запахи. А кроме того, приятна была их добротность,

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
честная неуклюжая добросовестность – вроде больших латунных контактов на приемнике.

В доме моего двоюродного брата стояли высокие бронзовые подсвечники. Только теперь я понял, какие это были красивые подсвечники.

Я помню каждый их завиток, потому что все эти завитки, лепесточки отвинчивались, чашечки, куда вставлялись свечи, тоже отвинчивались, а основание, залитое свинцом, тоже вынималось. Свинец мы оттуда вырезали, мы делали из него грузила, а потом пытались делать кастет. Завитки и прочие детали мы пробовали приспособить под что-либо стоящее, поскольку сами подсвечники никакой ценности для нас не представляли, наоборот, они выглядели буржуазной нелепостью, почти позорным прошлым, хуже керосиновой лампы или лучины...

Старая петербургская квартира досталась дяде от какого-то генерала, в ней было полно ненужных и странных, на наш взгляд, вещей. Ломберный стол, покрытый ярко-зеленым сукном. Скольких трудов нам стоило отодрать его! Огромный кованный сундук. Пустая золоченая клетка. Секретер со множеством отделений. Мы выковыривали оттуда перламутр, замочки, пружинки, которые вытаскивали потайные ящички. Мы презирали и не любили эти старорежимные вещи. Взрослые пытались нас остановить, но мы не слушали их. Дядя надолго уезжал в Арктику, тетка пропадала на фабрике, и мы хозяйничали. Подсвечники мы сдали в утиль и купили волейбольный мяч. Таким же способом мы расправились с бронзовыми часами.

Спустя столько лет мне вдруг стали вспоминаться старые вещи, которые я уничтожил. У отца был огромный альбом с фотографиями первой камчатской экспедиции. Наверняка уникальный, а может, единственный. Альбом погибал долго. Толстые, глянцевого картона листы не поддавались ни бритве, ни ножницам. Особо помнится мне найденный на чердаке большой пакет, обернутый в голубоватую кальку. Там были тщательно перевязанные пачки чьих-то писем и рукописей, какие-то старинные рисунки тушью, чьи-то портреты, но ничего не представляло для нас интереса, кроме кальки. Все остальное пошло на растопку.

Тридцать лет спустя я попал в маленький старинный городок на берегу Онежского озера. Николай Иванович, учитель истории, повел меня в местный музей. Вытянутый одноэтажный деревянный дом, бывшая школа, стоял на окраине в запущенном саду. Музей был создан руками Николая Ивановича. Четверть века он собирал все, что относилось к истории края. Оружие времен гражданской войны, красноармейские книжки, фотографии. Но больше всего занимали его предметы быта. Он выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки, даже мебель. Из дальней деревни он притащил на себе тяжеленный почтовый ящик александровских времен, фонарь, вывеску земской больницы. Чего тут только не было! Старая деревянная посуда, берестяные игрушки вплоть до берестяного мячика. Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы приохотить ребятшек к работе, жестяные банки из-под монпансье и чая, тетрадки первых лет революции, календари, кованные замки, вышитые рубахи... Из этого складывался быт, который я уже не застал и который застал лишь краешком. Вещи, среди которых выросли наши родители, были тогда незаметной обыденностью, а ныне они диковинные, даже непонятные: сапожные колодки, ухват, песочница. По ним можно было представить, как они жили, – и бедность, и тяжесть работы, и веселье. Это были не столько этнография и не столько история, сколько именно быт, та повседневная жизнь, которую так трудно восстановить, которая у каждого поколения своя и уходит с ним... Бирюльки, папиросные коробки, стенные газеты двадцатых годов, первые комсомольские значки...

До чего ж я был благодарен Николаю Ивановичу! Хоть чем-то, хоть как-то возместил он мои давние бесчинства. Со стыдом вспоминал я, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил безвозвратно. В нынешней квартире моей нет ни одной старой вещи, ничего из того, что когда-то принадлежало родителям, связано было бы с жизнью отца, деда, ничего фамильного, наследованного. Низенькие эти трехногие столики, да диван-кровать с поролоновой начинкой, да полки, где те же книги, что и у всех, – новые, новехонькие. Была, правда, старая настольная лампа, купленная Таней в комиссионном, чужая старина, не вызывающая никаких воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. Такие вещи стоят столько, сколько они стоят, – не больше... Мебель, одежда, украшения – словом, все вещи вокруг нас сменяются быстро. Они и рассчитаны на недолгую жизнь. Из них не составишь "цепь времен".

И вдруг, в этом токийском универмаге, я увидел фарфоровый чайник. На нем были нарисованы мост с бамбуковыми перилами и у перил две девушки в красных с золотом

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
кимоно. Я сразу узнал их. Каждый вечер этот чайник, гордость моей тетки, ставился перед моим носом у самовара, и я разглядывал этих японок, гадая, кого они ждут на мостике, почему одна из них веселая, а другая печальная. Кончилось это тем, что я отбил у чайника носик, тетка плакала: чайник из настоящего японского фарфора считался драгоценностью, мне вспоминали его многие годы; и вот теперь он стоял здесь, целенький, хотя и в трещинках, бережно вязывали, пожелтый от времени, в мелких волосяных..... Он был дешевый, я купил его и смотрел, как долго его завертывали, упаковывали, перевязывали...

... На улице я сообразил, что тетя Вера давно умерла и дядя Гриша погиб, не осталось никого, кроме меня кто помнил бы этот знаменитый чайник, и, собственно мне некого удивить и обрадовать.

Может, эту удивительную встречу имела в виду гадалка? Вряд ли, потому что ожидание невероятного не прошло, оно все так же томило - ненасытное и веселое, как предчувствие чуда.

И когда на перекрестке Гиндзы, перед непонятным световым табло, появился Коля Сомов, это было так сверхъестественно, что я убедился, что попал в страну, от которой можно ожидать всего того, чего нельзя ожидать.

Последний раз я видел Колю Сомова в дежурной комнате милиции, где разбирали нашу драку с соседней школой. Сомову выбили передний зуб, он говорил присвистывая, с трудом шевеля вздутой губой. С тех пор я мельком, на ходу, встречал его раза два в Москве, когда он стал уже доктором наук, лауреатом, но при виде его вставленного зуба я сразу вспоминал того Сомова.

- Привет, - сказал я. - Какими судьбами? Слушай, Сом, что это за штука с цифрами? Он взглянул на табло.

- Индикатор уровня шума. - Затем добавил, снисходя к моему уровню: - Измеряет уличный шум. Доходит?

Мы посмотрели друг на друга и стали не торопясь, со вкусом изумляться. Сомов жил в Токио уже две недели. Он прочел в университете курс лекций по искусственным элементам и теперь собирался в поездку по стране.

Мы отправились в ресторанчик, где Сомова знали и сразу подали нам какие-то катыши из мяса и риса, вино и пирог. Сомов двигался неторопливо, и, однако, я еле поспевал за ним. Видно было, что все у него рассчитано, налажено, особенно же меня поразило, с какой ловкостью он орудовал палочками.

Мне легче было подцепить рисинку ногами, чем этими палочками. Впрочем, ног у меня уже не было. Вскоре после того как я уселся, скрестив их под собой, они затекли, задеревенели и начисто исчезли.

- Ну, как тебе эта экзотика? Что-то ты мало ешь, лицемерно беспокоился Сомов. - Давай, давай, наслаждайся. Ты же среди экзотики. Знаешь, глядя на твои действия, я начинаю понимать, откуда у японцев столько трудолюбия и терпения.

Низкорослый, массивный, со скуластым крепким лицом, он вписывался в окружающую обстановку. По тому, как уверенно он держался, можно было подумать, что он по крайней мере несколько лет пребывает здесь. И позже, когда он уговорил меня вместе поехать на юг Японии, меня не раз удивляла, даже раздражала, эта его способность немедленно адаптироваться; через час в любом городе он уже показывал дорогу, имел знакомых, ему уже звонили по телефону, как будто он приехал не в Беппу, а в Свердловск. Его сопровождал молоденький аспирант Тэракура-сан, влюбленный в Сомова, знающий наизусть его работы, он почитал его за великого ученого, записывал его изречения и поражался тому, что я осмеливался спорить с Учителем.

Мы ехали вместе, дорогой у каждого из нас постепенно появлялась своя Япония, мы с Сомовым как бы смотрели в разные стороны, мы словно двигались в разных плоскостях, и только в Киото пути наши пересеклись. Это было в Саду камней маленького храма Ргандзи.

А пока что мы шли с Колей Сомовым по Синдзюку, и мне казалось, что мы те же десятиклассники, что Митя Павлов не сгорел в танке, Каменев не умер от рака, все

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru живы, а вот мы с Колей Сомовым, на зависть им всем, каким-то чудом забрались в неслышанную страну. Никто бы из них не поверил, что мы поедем в Японию... Вспыхивали бумажные фонарики, сквозь высокие ворота храма светилось синее вечернее небо, кто-то мягко бил в гонг, все было как тысячу лет назад и как тридцать лет назад...

2

НАЧИНАЕТСЯ С ТОГО ЖЕ, С ПОЛЕТА В ЯПОНИЮ,
НО В КРЕСЛЕ САМОЛЕТА СИДИТ НИКОЛАЙ СОМОВ
И ЧИТАЕТ КНИГУ ЛОУРЕНСА

"Мы летим на северо-запад, взяв курс на Японию. Наш самолет "Энола Гей", названный полковником Тиббетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум тысячам, а возможно, и четырем тысячам "летающих крепостей". Лишь несколько звезд просвечивают сквозь облака, и время от времени вспышки молний озаряют небо. Мы летим в ночной мгле, сквозь грозу, вперед и прямо к Империи".
Стюардесса подала мне горячие салфетки, смоченные лосьоном.

- Где жили ваши родители в сорок пятом году? - спросил я.

Профессия приучила ее к любым неожиданностям.

- В Киото, - любезно ответила она.

- Вас, конечно, еще не было тогда на свете?

- О да!

Того журналиста звали Лоуренс. Он получил премию Пулитцера за свои очерки о бомбежке Японии:

"...я нахожусь внутри небесного свода, пролетая над горами белых кучевых облаков. Наступают моменты, когда пространство поглощает время, и минуты, кажущиеся бесконечностью, заполняются гнетущим одиночеством".

Они летели примерно на нашей высоте. Пространство осталось тем же, а вот время изменилось, оно течет не туда и с другой скоростью.

"Где-то впереди за этими огромными горами белых туч лежит Япония, страна нашего врага. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей".

Стюардесса вернулась за салфеткой.

- Вам повезло, - сказал я, - вернее, вашим родителям. Вернее, будущим вашим родителям.

Она не поняла и на всякий случай улыбнулась.

"...но сейчас еще никто не знает, какой из городов будет уничтожен. Окончательный выбор сделает судьба. Ветры, дующие над Японией, примут решение. И если они закроют Хиросиму тяжелыми тучами, город будет спасен и его обитатели не узнают, что за ветер благосклонной судьбы пронесся над ними..."

Он чувствовал себя богом или близким к богам, этот Лоуренс. Во всяком случае, он был близок к генералу Гровсу, а уж тот-то наверняка считал себя богом, особенно когда решался вопрос о выборе цели.

"...но тот же ветер обречет Нагасаки, или Кокуру, или Ниигату. Через несколько минут все будет ясно".

Генерал Гровс предлагал разбомбить Киото, а военный министр США Стимсон - разбомбить Нагасаки. Долгий ожесточенный спор выиграл Стимсон. Бомба была сброшена на Нагасаки, родители этой девушки остались в живых, и она появилась на свет.

- Благодарю вас, - сказал я.

- Все в порядке?

- О да, все отлично.

Острова Японии медленно проплывали под крылом. Прекрасной и беззащитной выглядела земля отсюда, с высоты. Япония была для меня: Хиросима, Нагасаки, август 1945 года и тот внезапный поворот в моей судьбе, после атомного взрыва. Насколько я знаю, Оппенгеймер не был в Японии, и Артур Комптон, и Эрнест Лоуренс, никто из физиков, членов комитета по выбору цели, не приезжал после Хиросимы в Японию. Глядя вниз, я пробовал представить себе, что бы они чувствовали, ступив на эту землю. И не мог.

С той минуты, когда машина помчалась по шоссе в Токио, ныряя в тоннели, возносясь на высокие бетонные эстакады, когда за стеклом потянулись тесно прижатые друг к другу крыши, заводские корпуса, трубы, виадуки, газгольдеры, и все это без малейшего зазора, без передышки, километр за километром, до самого горизонта, слева и справа - заводы, верфи, комбинаты, стапеля, - с этой минуты началось узнавание. Я готовился к тайнам Востока, а находил привычное, понятное, и это было приятно.

Улицы Токио знакомо воняли бензином, повсюду грохотали электрички, мчались машины, зелени было мало, людей много, автобусы шли битком набитые, утром перед лекциями негде было перекусить, хотя кругом сотни забегаловок, но всюду переполнено, а в пустом ресторане отеля я ждал полчаса, пока официант принес креветки вместо заказанного омлета.

Мне было смешно, что я сердился точно так же, как в институтской нашей столовой. Студенты на лекциях так же, как и в Москве, гудели, перешептывались, в тех же местах начинали записывать, задавали те же вопросы и делали те же ошибки. С утра я шел в толпе служащих, одетых, как и паши, с обычными папками, сумками, авоськами.

Я любовался архитектурой отеля "Отания" и еще какого-то нового отеля - белого с розовыми полосами, словно обтянутого тиком, я понимал достоинства этих построек, мог сравнивать, оценивать.

Это было чем-то похоже на встречу с Глебом Фокиным. Неожиданность, казалось бы, удивительность нашей встречи здесь, в Токио, открывала нечто закономерное. Меня забавляли его восторг и изумление. Для него такая встреча была чудом, он никак не желал понять, что прелесть ее как раз в другом, в том, что она уже становится не чудом, мы можем встретиться не только в Москве или в Берлине, но и в Токио.

Видимо, его как раз это не устраивало. С пренебрежением он показывал на билдинги деловых кварталов Маруноути: облицованные черным мрамором, полированные гранитом банки, офисы - с блестящими медными вывесками, с подземными гаражами и уходящими ввысь зеркальными плоскостями. Его возмущала похожесть. То ли это Детройт, то ли Лондон, то ли Москва. Те же лифты, эскалаторы, та же застекленная геометрия, удобная и близкая. Те же девочки в мини и парни в джинсах, с транзисторами. У одного транзистор "Сони", у другого "Филипс", у третьего "Грундиг" вот и вся разница. Он не видел ничего хорошего в этой всеобщности. Американообразные супермаркеты, знакомые проволочные корзины, заваленные жестянками с кофе, сыром, консервами. Толпы клерков в одинаковых синтетических костюмах, волосы припомажены тем же кремом "MG". Эта Япония его мало интересовала.

В воскресенье мы гуляли с ним в Императорском парке. У ворот дворца стояли часовые. За каменной стеной поднимались пагоды, аспидно блестели крыши дворца, выложенные фигурными черепицами. По дорожкам парка семенили японки в праздничных кимоно, с высокими прическами. Мужья или женихи фотографировали их. Этот милый маскарад среди бедных красок зимы восхищал Глеба. Он ахал, дергал меня за рукав, как будто мы были не одногодки, а я дядюшка, а он племянник.

- Так вот что тебе нужно, - сказал я. - Рикши и гейши. Чтобы самураи делали перед дворцом хакари. Чтобы несли в паланкине микадо. Ты ищешь мадам Баттерфляй и тому подобную ветшь. Ты вроде тех иностранцев, которые, приезжая в Москву, ахают на церковные луковки, ждут медведей, троек, зипунов и самоваров.

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Таинственная русская душа, загадочный Восток, чайная церемония...

Он посмотрел на меня с жалостью. словно мне была недоступна красота этого парка – слабые, приглушенные краски кустов, пегой травы и голых деревьев и среди них плывущие кимоно с их трубными сочетаниями цветов, подобные фантастическим птицам. И барабанный стук деревянных гэта, сплетения ветвей, прорисованных легко и звучно в тихом небе.

Он считает, что либо – либо. либо наука, либо поэзия. Что ежели наука не знает, зачем павлину такой роскошный хвост, то рационалисты не станут любоваться этим хвостом. Что для таких, как я, главное – полезность, разумность. Рационалист для него бранное слово. Он не чувствует, что павлиний хвост для ученого – еще большее чудо, если его нельзя объяснить законами эволюции...

На горбатом бамбуковом мостике стояли две девушки в алых кимоно. Разрисованные их личики – белое, черное, красное вызвали у Глеба нечто вроде приступа астмы. Он задыхался от счастья. Девушки и впрямь были прехорошенькие, такие фарфоровые изделия, желтый мостик был как ломтик луны... Но когда я увидел у одной из них в руках книжку в зеленом супере – физика курс лекций Фейнмана, я рассмеялся и подошел к ним.

Глеб издала пожирал нас глазами, он был изумлен моей смелостью, как будто я заговорил с небесными ангелами.

– Заурядные студенточки, – сообщил я, вернувшись. – Имеют "хвосты", общественно пассивны. Английский знают плохо.

Я думал рассмешить его или в крайнем случае подразнить, но он всерьез огорчился.

– Что ты наделал! – сказал он. – Они ведь с чайника. Вечером он показал купленный где-то старенький чайник.

– Любимый чайник тети Веры, зачем он теперь мне, если на нем изображены хвостистки? – сказал он. – Снова этот чайник разбился. Ах ты, бедный мой физик, тебе казалось все это очень остроумным, и вот видишь, что получилось...

Потом мягкое смешливое его лицо слегка покраснело:

– А все же ты, технарь, не прав: важно не то, что эти девушки в кимоно оказались студентками-физичками, важно другое, наоборот, что эти девушки с книгой Фейнмана ходят в кимоно!

Я пригласил его на обед к давнему моему знакомому профессору Кайно. Впервые мы отправились в частный японский дом. У входа мы сняли туфли, надели тапочки, и Глеб был этим доволен. Однако обстановка в доме была европейская... Мы сидели на нормальных стульях, за нормальным столом, и хозяйка с нами, ели мы ложками и вилками. Глебу не приходилось мучиться, и тем не менее он не мог скрыть разочарования. Мы пили виски, разговаривали о романах Кобо Абэ, о назначении фантастики и о космических кораблях. На стеллажах стояли Чехов, Достоевский, Ландау, и в числе прочих – моя книга, переведенная на английский, так же как у меня стояли книги Кайно-сан о получении новых элементов. После обеда мы вышли на террасу в крохотный садик. В горшках росли маленькие сосны и вишни, лежали декоративные камни, выгнулся мостик над прудом величиной с крышку рояля и стоял каменный фонарь. Ходить по этому саду мог один человек, и то имея ноги не больше 34-го размера. Кайно-сан показывал сад, как бы прося снисхождения к своей слабости. Вот, мол, и они, вполне современные люди, любят старинные игрушки. Однако Глеб нахваливал сад с таким энтузиазмом, что Кайно-сан повел нас в дом и, раздвинув оклеенную бумагой легкую дверь, или, как ее называют, седзи, открыл комнатку-нишу. Там стоял манекен, наряженный в самурайские доспехи – наплечник, латы, не знаю, что там еще, и меч, и шлем. Оказывается, это досталось Кайно-сан от его предков – так сказать, фамильное наследство. Он надел на себя шлем, помахал мечом, посмеиваясь над собою и над священным трепетом Глеба.

Я подмигнул Кайно, и мы с силой натянули шлем на голову Глебу. За чаем мы обсудили последние работы Уильяма Миттла и так заговорились, что совсем забыли про Глеба – он сидел молча, в этом дурацком самурайском шлеме, одинокий, печальный. И даже когда я это заметил, мне все равно не хотелось отрываться от

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
нашего разговора, я лишь мельком подумал, что у меня сейчас с доктором Кайно, наверное, больше общего, чем с Глебом, а может, и не только сейчас, подумал я позже; мысль эта смутила меня, не могло так быть, не должно было так быть, что-то тут было не так...

3

ПРИЕХАВ В КИТО, ОНИ ПОСЕТИЛИ САД КАМНЕЙ,
И ГЛЕБ ФОКИН СПЕРВА НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ И,
УЖ КОНЕЧНО, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ, КАК МНОГО
БУДЕТ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ НЕГО ЭТО ПОСЕЩЕНИЕ

Сперва это напомнило мне театр. Длинные деревянные скамьи ступенями спускались к дворику, усыпанному белым песком. Из песка торчали разные, большие и малые, камни, разбросанные как попало. На скамьях сидели люди и взирали на камни. Некоторые присаживались на несколько минут, потом бесшумно уходили бесшумно, поскольку обувь снималась у входа в храм. Переговаривались шепотом, сохраняя тишину. И вообще все выглядело весьма торжественно, как будто там, на этом песке, что-то происходило. А там ничего не происходило. Лежали старые обыкновенные камни, посреди песка. Напротив, замыкая сад, тянулась земляная стена, крытая черепицей. Все это сооружение составляло знаменитый Сад камней храма Ргандзи. Тэракура при, вел нас сюда как бы в заключение, после всех других храмов Киото; по дороге он рассказывал про Сад камней с благоговением, готовя нас к чему-то необыкновенному, и теперь он с надеждой ждал.

Я чувствовал себя виноватым. Я ни черта не видел в этих камнях. У нас в Новгородщине таких камней завались. Каждую весну их выкорчевывают, подкапывают, сволакивают на межи, увозят, а на следующий год вылезают другие. Трактористам от них форменная беда. Камни мешают. От них никакой пользы, ни радости, ни красоты. А тут, в Японии, люди сидят и почтительно взирают на такие же камни, как на какой-то шедевр, словно перед ними "Джоконда" Леонардо. Добро бы на камнях было бы что-нибудь изображено, по они даже никак не отделаны, нетронутое естество природы.

Сбоку, на стене, в рамке висела надпись. Тэракура-сан перевел ее нам. Это оказалось стихотворение. Тэракура извинился за свой перевод, передающий лишь смысл:

Сядьте и побеседуйте с Садам камней, В огромном мире, как отдаленные точки,
Затеряны островки с благоухающими вершинами, Напоминая нам бескрайнюю Вселенную,
И наши сердца очищаются от скверны, И мы можем постичь дух Будды.

Дальше про секту дзэн, что-то чисто религиозное, малоинтересное для Тэракура, поскольку он принадлежал к другой секте. Они были старые, эти камни. Пожалуй, они и впрямь походили на острова, на ту Японию, которую я увидел впервые из самолета.

Я вспомнил, как три недели назад я летел сюда, и казалось, что этому путешествию не будет конца, что меня ожидают бог знает какие приключения, открытия, а вот уже скоро пора возвращаться, и, хотя я увидел больше, чем ожидал, все равно ожидание – оно лучше.

Я все еще надеялся на невероятное, на чудо, обещанное хироманткой.

А теперь, увы, счет уже пошел на дни и часы, пора подбивать бабки, а кажется, что все это вступление, самого-то главного не было. И ведь упрекнуть себя не за что, ни одного дня не проведено впустую, сколько всякого насмотрелся, где только не побывал. Чем же я недоволен? Какого "самого главного" я ждал? А что, если это главное уже было – где-нибудь в маленьком городке Курасики или на пароме, когда мы с барменом показывали друг другу фокусы со спичками... Никогда не знаешь, что потом, впоследствии окажется главным.

За три недели было множество встреч, разговоров, наблюдений, казалось, что я уже что-то понял, разобрался, ничего подобного: сидя перед этим Садам камней, я чувствовал себя болваном, невеждой, потому что ни чувств, ни мыслей не вызывало

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
во мне это зрелище, ничего, кроме досады. Который раз Япония огорошивала своими загадками.

А храм существует триста лет, и триста лет ходят сюда люди, сидят часами, любясь, размышляя над этими камнями. Каждое поколение что-то находит в них.

Почему же я не способен?

Ощущал же я, хоть как-то, прелесть древней японской живописи, непривычной скульптуры, до самого закрытия бродил по сумрачным залам Национального музея, и так, и этак подбираясь к нелегкой простоте картин Харунобу и к картинам, сделанным из одного иероглифа.

Если чего я не понимал, то хоть чувствовал, ощущал, что есть тут что-то, недоступное мне.

Я покосился на Сомова. По всем его теориям никаких тут тайн не должно быть. Не должно, и все. Подперев руками голову, он сидел, наблюдая, будто перед экраном осциллографа, перед стендом в своей лаборатории. Можно подумать, что с этими камнями происходило нечто, требующее изучения. По складу ума Сомову мало установить, что тут ничего нет, что это в лучшем случае религия, мистика, шаманство, ему все это еще надо разложить на составляющие, вычислить и доказать. Его натура требует логических доказательств. Судя по холодному, насмешливому его лицу, он разрушал этот сад, камня на камне не оставлял. Бедные японцы, навсегда они лишатся своего национального сокровища А если он что-то уловил? А что, если ему тут что-то открылось, а мне нет? С ревнивой ожесточенностью уставился я на темные камни посреди белого песка, "затерянные островки" в бескрайней Вселенной. После прочитанных стихов сравнение стало очевидным, в нем не хватало свежести поэтического открытия. Еще немного – и можно впасть в дешевое глубокомыслие. Примерно то самое, о котором писал великий японский поэт Басе:

Стократ благороднее тот, кто не скажет при блеске молнии: "Вот она, наша жизнь!"

Вряд ли ради подобных поверхностных мыслей приходят сюда японцы. Сам Басе, который принадлежал к секте дзэн, наверное, тоже бывал в этом саду и видел свое в этих камнях.

Там, куда улетает крик предрассветной кукушки, что там? Далекие острова.

Триста лет может сохраняться лишь подлинная ценность. Всякая мнимость, модное, надуманное давно исчезло бы из жизни народной. Те же японские трехстишия, поэзия того же Басе не стареют, продолжают удивлять из века в век, несмотря на всю свою предельную простоту, а может, именно благодаря простоте. Чем-то они, конечно, похожи на эти камни: ничего проще, лаконичнее быть не может.

Помнишь, как вместе с тобой мы глядели на снег!.. Ах, и в этом году Он, должно быть, выпал опять.

Три строчки, несколько слов, и, оказывается, этого достаточно, чтобы начался обвал чувств, лавина воспоминаний. И у меня был тот первый снег, утро, когда мы вышли на крыльцо и зажмурились от белизны...

Проза не в силах вызвать подобное столь скугими средствами. Поэзия для меня вообще магия, а в японской поэзии секрет действия этих хокку совершенно непонятен. Емкость таких стихов кажется неисчерпаемой. Ну как, спрашивается, каким образом они умудряются столько передать тремя строчками, столько зацепить, вытащить из души? Вот, например, "Вспоминаю умершего ребенка" Фукуда Тиг:

Больше некому стало делать дырки в бумаге окон. Но как холодно в доме!

Написано двести пятьдесят лет назад, и ничего не обветшало, все так же щемит сердце, и верится, что пройдет еще двести лет – и действие этих стихов не изменится. Да я и не представляю себе, что тут может устареть. Как вообще происходит старение в искусстве? Геронтологи пока что искусством не занимаются. Тут каждый, как говорится, сам себе геронтолог. Для меня первая примета старости – это когда в произведении появляется лишнее. В стареющих кинолентах начинают раздражать затянутости, в романах – долгие описания портретов, обстановки,

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
чрезмерные разъяснения... Когда-то меня занимала тайна долголетия в искусстве.
Почему одни произведения, которые признавались талантливymi, дряхлеют, а на
другие время не действует?..

Мы как-то обсуждали это с Сомовым, сидя в вечернем экспрессе по дороге из Токио
в Нагасаки. За окном со скоростью двести двадцать километров в час мчалась
Япония. Поселки и городки сливались в сплошные полосы огней – цветные повязки
ночи. Мы сидели в высоких креслах, в вагоне было тихо и неподвижно, скорость
была за окном. Сомов считал, что, проанализировав процесс старения в искусстве,
можно найти способы избежать этого старения. Не торопясь, он принялся
расчленять, прикидывать и так, и этак, вслух, так, чтобы я мог следить за его
мыслью. Она ловко нащупывала подступы, формулировала проблему, было страшновато
наблюдать ее работу. Можно было подумать, что еще немного – и Сомов найдет
секрет, длинную формулу, или таблицу, или правила, что-то в этом роде, и
преподнесет мне. Я был уверен в его могуществе. По этим формулам можно будет
создавать гениальные, то есть нестареющие, произведения. Ну, конечно, не так-то
просто, но, как говорит Сомов, должны же быть какие-то законы, все явления
подчиняются каким-то законам, на все существуют законы...

И вдруг я испугался.

– Кончай, – сказал я. – Довольно, не надо, не хочу я этого знать, не желаю.
По-кошачьему круглые глаза его заинтересованно нацелились, а потом он
рассмеялся:

– Отказываешься? А мог бы сразу стать классиком Чего ж ты боишься, задаром
ведь... Впрочем, может ты и прав Такая штука вроде эпидемии. Представляешь если
обнародовать секрет изготовления шедевров

– Пожалуйста, не надо. Удержись. Не публикуй Чего тебе не хватает? Славы? – Я
внимательно посмотрел на него. – Послушай, без шуток: если б ты нашел мог бы ты
остановиться, утаить?

– Не знаю. – Он подумал и повторил удивленно и встревоженно: – Не знаю...

Непривычная скорость "Хикари" размазывала пейзаж, ближние предметы глаз не
успевал рассмотреть они плавались, словно не в фокусе, четкость сохранялась лишь
в глубине. Там медленно кружились рисовые поля с маленькими домиками под
тяжелыми крышами.

Неторопливость была задвинута куда-то вдаль, таяла в темноте, заслоненная шумом,
скоростью, спящей каруселью реклам.

Последние слова Сомова не выходили у меня из головы. В том-то и дело, что он не
устоял бы и обнародовал свое открытие. Не важно, что никакого открытия не было и
все это были фантазии, меня занимала сейчас возможность. Он сознавал бы всю
опасность своего открытия и все равно не удержался бы от искушения. Для него нет
вредных и полезных открытий. Знание для него всегда хорошо. В Императорском
парке мы с ним любовались двумя девушками. Они стояли на мостике, красные кимоно
их отражались в черной воде, детские мои воспоминания были тут ни при чем, сама
по себе эта картина была красива. Бывают такие редкие случаи: все вдруг
счастливо сочетается – краски, воздух, солнце, – длится это какое-нибудь
мгновение, и словно ощущаешь, что никогда это больше не повторится...

Что делает Сомов? Вздыхая и умиляясь, берет ножик и начинает скоблить краски на
этой картине. Выясняет, что внутри этих кимоно пребывают студентки-двоечницы,
что они не понимают какого-то Фейнмана и т. п. Зачем ему понадобилось это
выяснить? Любознательность сжигала его, мешала ему наслаждаться, он немедленно
принимался потрошить, развинчивать, копать...

Вот и сейчас он точно так же примеривался к этому Саду камней.

Внезапно храм наполнился шумом, топотом. Рядом со мной на скамье уселась большая
немецкая семья – множество детей, мамаша, бабушка и папа в красных носках и с
таким же красным налитым лицом.

– Камни – это символы, – решительно сказал он. – Тут можно сидеть часами,
погружаясь в глубины духа. Мы, европейцы, не умеем созерцать. Темп современной

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
жизни не позволяет нам остановиться. Мы превращаемся в роботов... Ах, Восток...
Затем, по его требованию, семья погрузилась в умиленное созерцание. Через
несколько минут он посмотрел на часы, поднялся, и все дружно встали и
отправились покупать цветные открытки и слайды Сада камней.

Я был ничуть не лучше их. Я готов был обратиться к Сомову с теми же словами. Сад
камней ничего у меня не вызвал...

4

ИНОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНИ ПОБЫВАЛИ

НЕ В ОДНОЙ СТРАНЕ, А В РАЗНЫХ.

И ТОТ ЖЕ САД КАМНЕЙ

НИКОЛАЙ СОМОВ УВИДЕЛ ИНАЧЕ

Сад камней представлял площадку примерно метров 30 на 10. Темные камни на белом
песке. Одни камни, больше ничего, ни травинки, ни листочка. Они прежде всего
напомнили мне камни Нагасаки. Казалось бы, при чем тут Нагасаки, и все равно
опять Нагасаки, опять Хиросима. Куда бы я ни повернулся, любое движение вызывало
боль. После Нагасаки рана эта открылась, и все цеплялось за нее, она не давала
покоя...

Тэракура прочел стихи про острова и Вселенную, по это были старые стихи,
написанные за столетия до атомного взрыва, автор не мог и вообразить себе, какие
сравнения вызовут у нас эти камни. Они источали угрюмую печаль. В них была
дикость... Когда-то я читал книгу известного японского ученого Сгто Нагаока
"Измерения в эпицентре атомной бомбы в Хиросиме" Профессор описывал превращения,
которые произошли с минералами в Хиросиме после взрыва. Гранит выпустил тонкие
шпильки, как бы оброс щетиной. Камни текли покрылись коростой; страшные, одичалые,
они опрокинулись в свою первобытность, в какую-нибудь эозойскую эру.

Древние камни храма Ргандзи были красивы и патриархальны, они предназначались
для благоговейного и благочестивого созерцания-вечная, неизменная природа и
всякое такое, но я видел в них камни Нагасаки.

Киото могла постигнуть участь Нагасаки. Мысль об этом делала для меня
призрачными тихие улочки бывшей столицы и глубокие полутемные лавочки, где
горели бумажные фонарики и на полках нежно просвечивал тонкий фарфор. Красные
ворота храма вели в чистый пустой двор. Холодное солнце светило там особенно
резко и сильно. Голые ветви вишен были в белом, словно цвели тысячи подвязанных
бумажек - молитвы и просьбы верующих. В пустынных храмах открывалось
пространство, огороженная пустота: небо над головой, шум гравия под ногами, и в
душе у меня становилось свежо и радостно, как когда-то, а теперь бывает только
во сне, жизнь казалась еще долгой, и можно было в пей еще кое-что исправить. Я
хотел бы наслаждаться прелестью этого старинного города, как Глеб. Но Киото был
отравлен горечью Нагасаки. Снова я возвращался к этой старой истории.

В Нагасаки, в Музее атомного взрыва, мы встретили группу американских моряков.
Рослые красивые парни, скучая, бродили между стендами. Они совершали экскурсию
по городу, они уже побывали в храме Софу-кудзи, в домике мадам Баттерфляй, в
католической церкви, и теперь их привезли в музей. Молодые челюсти их неумоимо
жевали резинку, глаза лениво скользили по экспонатам. Они жаждали развлечений.
От нечего делать они фотографировались, покупали стереооткрытки. Кое-что они,
наверное, слышали о трагедии Нагасаки, но это было давным-давно, никого из них
еще не было на свете, и к ним это не имело никакого отношения.

Город был испепелен. В центре взрыва он просто испарился, а дальше как бы
постепенно появлялись развалины. Они отличались и от развалин Дрездена, и от
всех Других развалин разбомбленных городов. Всю стену музея, от края и до края,
занимала фотопанорама города. На ней видно было, как постепенно от опустошенной
середины появлялись выжженные остовы зданий, впрочем, и слово "выжженные" тут не
подходило, потому что не было природного огня, это были следы катастрофы
неземной, страшной своей неведомостью...

Макеты развалин, искореженные, остановившиеся часы, оплавленные камни и на них

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru тени спаленных людей, фотографии детей, окруженных, словно нимбом, сиянием радиации, – я давно знал это все по описаниям, однако здесь, в Нагасаки, это выглядело совсем иначе. Глеб ни о чем меня не расспрашивал, поначалу он было пробовал что-то записывать, потом запрятал блокнот. И даже американские матросы постепенно примолкли. Все чаще они застывали перед витринами. Группа распалась. Каждый стал сам по себе. Надписи повсюду были по-японски и по-английски. Только на бомбе, на той самой бомбе, надпись была одна – английская. Первую бомбу, хиросимскую, американцы называли "Малыш", вторую, для Нагасаки, – "Толстяк".

Матрос с золотистыми усиками спросил:

- Кто ж это ее ахнул?
- Вроде наши, – неуверенно сказал кто-то.
- Значит, все-таки мы. Я думал, это пропаганда.

Мне в голову не могло прийти, что такие вещи кто-то может не знать. Их сопровождал пожилой офицер, грудь его украшала широкая колодка боевых орденов. Он остановился у витрины, где лежала листовка американского командования, и стал читать ее вслух. Описав мощь нового оружия, американцы доказывали бесполезность сопротивления, предупреждали жителей Нагасаки и просили покинуть город.

Офицер постучал пальцем по стеклу. Все же листовка эта как-то оправдывала американцев – они предупредили население, соблюдая тем самым законы честной войны...

- К сожалению, вряд ли ее успели прочесть, – сказал я.
- Простите, – сухо отозвался офицер. Он был немного старше меня, кто знает, может мы встречались в сорок втором, в Мурманске.
- Обратите, господа, внимание на дату – учтиво сказал я голосом гида, мне не хватало только флажка, желтенького или зеленого. – Листовки были сброшены девятого августа, одновременно с бомбой.
- Почему ж так? – спросил кто-то.

Я улыбнулся загадочной улыбкой агента 007 улыбкой мудреца, которому все стало известно слишком поздно. Им лучше меня мог объяснить генерал Гровс. Он изо всех сил старался объяснить эту странность случайным запозданием, технической задержкой Бомбу очевидно, сбросить было легче, бомба не запоздала а листовки запоздали, их вряд ли успели прочитать, и уж конечно, никто не успел покинуть город.

Когда мы вышли из музея, матросы в садике курили Один из них сказал:

- Вот оно как будет, если русские швырнут к нам такую штуку.

Кроме музея, мало что напоминало о дне девятого августа 1945 года. С горы, на которой стояла телевышка Нагасаки открылся во всей красе. Нигде я не видел такой дивной бухты. Причудливые извивы ее, словно в танце, кружили город, блестящие фиорды и мелкие заливчики. На рейдах дымили танкеры, лесовозы и белые пароходы с цветными трубами. В насыщенной синеве лежали острова, островки, заросшие лесом, проглядывались полосатые маяки, а внизу стлался по холмам город, с его гаванью, пирсами, проспектами. Сверху виден был каждый коттедж, садик, но лучшим украшением оставалось море. На смотровой площадке Глеб и Тэракура разговорились с каким-то старым японцем о подробностях того августовского утра. Разговор завязался случайно.

- У нас крепкая память, – сказал японец. – Что другое, а этого мы никогда не забудем. Это останется, как шрам. Вы не в состоянии представить себе весь ужас того дня... Это надо пережить. Войн в истории каждой страны много. Но атомная бомба ни на что не похожа. Отсюда, – он показал рукой на эпицентр взрыва, – отсюда начался атомный век человечества. С этих бомб, сброшенных на нас. Меня покорило его наивное тщеславие. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что он чутко заметил мне:

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

- Простите, боюсь, вам надоело, все одно и то же.

- Наоборот, я боялся, что все это позабылось...

- Ах, вам, иностранцам, трудно понять! Вы думаете, что это просто психологическая травма...

- Откуда вы взяли? - я вдруг рассердился. - В некотором смысле бомба эта была сброшена и на нас. Это и нас хотели утратить. Я не сравниваю. Я лишь хочу сказать, что мы в этой истории не совсем иностранцы...

Я заставил себя замолчать и примирительно улыбнуться. Мне совсем не хотелось улыбаться. Мне хотелось рассказать ему о том, как мы делали бомбу. В ответ на Хиросиму и Нагасаки. Как это было трудно, потому что страна была измучена войной, а мы отбирали последнее - цемент, металл, транспорт, людей. Как мы начинали со стареньким щитовым вольтметром, с несколькими килограммами урана... И если после Нагасаки не упало ни одной атомной бомбы, то в этом и наша работа. Жаль, что, когда об этом можно будет рассказать по всем подробностям, это уже не будет так интересно. Потому что в первую очередь это интересно нам, современникам, но современники всегда узнают секреты прошлого, в лучшем случае секреты их отцов.

... Спускаясь в Нагасаки с горы, мы увидели кладбище.

- Здесь есть и русские, - сказал Тэракура-сан.

- Русские? - мы заинтересовались.

Высокий буддийский священник в черной сутане проводил нас на террасу, где покоились русские моряки. В желтой сухой траве лежали рядами плиты. Старые плиты с полустертыми русскими надписями:

"Во имя отца и сына и святого духа, аминь. На сем месте погребено тело раба божьего Филиппа Белухина, матроса с русского военного корвета "Витязь", скончавшегося 30 сентября 1872 года на 27 году".

Было чисто прибрано, не было ни цветов, ни дорожек, видно, редко кто посещал кладбище, да и кому тут посещать?..

Здесь покоились морские офицеры, артиллеристы, матросы, какие-то гражданские, которых судьба забрасывала в далекий японский город. Погибшие на чужбине, они все же здесь были среди своих.

Края нескольких надгробных плит оплыли, что-то странное показалось мне в структуре этих темных камней. - А где же кресты? - спросил я зрителя. Бритая голова его склонилась в поклоне. Кресты были разрушены при атомном взрыве. Город лежал далеко внизу, но и сюда достала взрывная волна, она настигла и мертвых. Ни одного креста не осталось на этом старом русском кладбище. Лишь кое-где лежали стволы пушек и якоря. "Матрос Игнатий Харкевич Умер 25/V 1905 от ран в Цусимском бою". И сбоку на плите - каменный лишай, язва, печать от бомбы, пламя войны, которое снова, спустя сорок лет, опалило русского матроса.

5

ГЛЕБ ФОКИН ПРОБУЕТ РАЗМЫШЛЯТЬ О СЕБЕ

На освещенных солнцем ступенях все так же неподвижно сидело несколько японцев. О чем они думали? Что они видели? Девушка в клетчатой мини-юбке что-то шептала бледно накрашенными губами и улыбалась крохотной улыбкой, еле заметной, которую я научился ценить лишь здесь, в Японии.

Она была лучшим украшением этого скучного храма. Другие храмы были поинтереснее. Например, храм Тысячи будд. Кроваво-красный храм Хэйан дзингу, Золотой павильон. И храмы Нары и Токио - в каждом было что-то примечательное. В Паре, в храме Тодайдзи, сидел бронзовый позолоченный шестнадцатиметровый Будда Русяна. Лицо у него было с большую комнату, каждый глаз по метру. Никто еще не смотрел на меня такими огромными глазами. Если не считать нескольких сугубо личных случаев. Улыбка Будды была легкой, хотя она весила, пожалуй, не меньше десятка тонн. От

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
такого бога просто так не отмахнешься. Но и поверить в него трудновато. Слишком он был велик. Бог-великан не в состоянии сотворить чудо. Вернее, то, что сделает великан, не покажется чудом. Великан годится для испуга. Бог должен быть соразмерен. Маленькие языческие боги тоже хороши. Вот в храме Сапдзюсан-гэндо будды выглядели человечески. Их была тысяча, ровно тысяча золотых бодисатв. И все они улыбались. Они стояли шеренгами, по сто в шеренге, все одинаковые, как полк на параде. Одинаково сложенные руки и одинаково разведенные руки - у каждого было несколько пар рук. Странная улыбочка светилась на их золотых лицах: не поймешь, то ли это было начало улыбки, то ли конец - тысяча золотых улыбочек, и все разные. Их никак нельзя было сложить в одну. До чего ж это тонкая штука - улыбка, и как много она значит в жизни.

Мне хотелось бы написать трактат об улыбке. Об улыбках своих друзей. О женской улыбке. Об улыбке совсем маленьких новорожденных и первой осмысленной улыбке ребенка. О том, как много можно сообщить улыбкой. О том, как улыбались на войне. Там была бы глава об американской улыбке - стандартной, коммерческой улыбке, отлично отработанной деловыми людьми, улыбке продавщиц и сенаторов, улыбке наркомана, просившего у нас милостыню, и улыбке директрисы колледжа под Новым Орлеаном. В одном из театров "of Broadway" я видел пьесу, издаваемую над американской улыбкой. Выступающему перед телекамерой приклеивается улыбка. Она изготовлена лучшими специалистами. Ее подновляют, ее согласовывают, следят за тем, чтобы она не перешла в усмешку, в улыбку над чем-то, она должна сохранять чистоту, стерильность, она свидетельствует о радости американской жизни, о благополучии...

И была бы глава о японской улыбке. Она тоже необходимая принадлежность жизни. Сперва она утомляла вас обязательностью. Здесь улыбались все, по любому поводу, в любом разговоре. Постепенно я привык, начал понимать эту улыбку. В ней было скорее приглашение к дружелюбию, чем просто знак вежливости. Она была свидетельством гостеприимства: "Мы слишком рады вас видеть, чтобы думать о своих заботах". Ее скрашивала щепотка грусти, новорожденности, словно крупинки соли, которую добавляют здесь в клубнику, чтобы лучше почувствовать сладость. На встрече с газетчиками, когда разговор обострился и мы перестали улыбаться, К.-сан переменял тему. С гостями следует говорить лишь о том, что им приятно. Если мы не хотели уходить от острых вопросов, мы должны были улыбаться.

В гостях, за чайным столиком, я любовался искусством, с каким хозяева поддерживали общую улыбку. В памяти моей сохраняются не лица, а улыбки моих японских друзей - серьезная улыбка Кобо Абэ, шелковистая улыбка Томиз Охара, улыбка Хироси Кимура, которую он прятал, а она прорывалась в его глазах, редкая улыбка Хироси Нома...

В трактате были бы рассказы о фронтовых улыбках. Там была бы легенда, которую я услышал от М. М. Зощенко. Когда-то она ходила среди прочих легенд Ленинградского фронта. М. М. Зощенко ничего не изменил в ней, он лишь увидел в ней то, чего никто из нас не замечал.

Осенью 1942 года через прифронтовой лес пробиралась группа наших разведчиков. Шли они узкой лесной дорогой, вытянувшись цепочкой, бесшумно, как и положено разведчикам. И вдруг на повороте лоб в лоб столкнулись с группой немцев. Встреча получилась настолько внезапной, что все растерялись, наши стали прыгать в кювет по одну сторону дороги, а немцы, соответственно, по другую. Один молодой немец, ошавев в этой неразберихе, прыгнул в кювет вместе с нашими. Со страху он долго ничего понять не мог, видит - кругом русские, и вертится в полной обалделости в этой канаве. Тут кто-то из немцев крикнул ему, позвал, наши поддали ему под зад, он выскочил на дорогу и отчаянным прыжком скакнул к своим. С таким воплем он летел по воздуху в своем невероятном, рекордном прыжке, так он был напуган, что все заулыбались, а потом засмеялись. Немцы смеялись, и наши сидят напротив и смеются. И никто не стреляет. И когда все отсмеялись, тоже стрелять не стали, потому что вдруг оказалось-после общего смеха невозможно стрелять друг в друга. В некотором смущении наши поползли в одну сторону, немцы - в другую, так и разошлись. Тем более что нашим разведчикам не следовало вступать в бой, они имели спецзадание, и кто знает, может, и немцы избегали боя по своим причинам. Вся жизнь улыбка и смех были работой М. М. Зощенко, он был великим мастером смешного, - великим, потому что смешное никогда у него не было только смешным, он знал силу смеха и законы смеха, но этот случай поразил его, недаром он собирался включить его в цикл "самых удивительных историй". Слушая его, я невольно вспоминал известные мне удивительные случаи, и среди них - как мы в

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
марте 1942 года поехали с Кондюковым в Ленинград за бетонными плитами для дотов. Время, известно, было голодное. Работницы, какие оставались на заводе, по слабости своей не могли помочь нам, да и сами мы каждые десять минут садились отдыхать. Промыкались мы с этими плитами до обеда, потом завалились спать. Проснулся я и пошел искать Кондюкова. Сказали, что он у детей. На заводе устроили нечто вроде профилактория для детей. У дверей этого профилактория стояло несколько женщин. Укутанные всяким тряпьем, они выглядели толстыми, здоровенными, а лица их были крохотные, сморщенные, серые. Они не пустили меня. Они стояли и слушали. Из-за дверей донесся детский смех. Тоненький, слабый. Слышать его было непривычно. Женщины предупреждающе погрозили мне, чтобы я не мешал им слушать, лица их ожили, стали разными. Глаза прояснели, Появилась улыбка. Господи, какая это была дрожащая улыбка – с трудом, неумело раздвигались их губы. Они забыли, как улыбаться. Глуховатый голос Кондюкова что-то рассказывал, дети смеялись, а я ждал, прислонись к стене.

... Поодаль от девушки, на той же ступеньке, сидел парень в черных очках, зеленой кожи сумка стояла у его ног. Он застыл в неподвижности, словно позабыв о своем теле.

Следы граблей ровными линиями тянулись по белому песку. Вокруг камней они расходились кольцами, как круги на воде. Расчерченный линиями песок словно бы растягивал пространство. Расстояния между камнями становились огромными. Они уже были не острова, а миры, галактики, затерянные во Вселенной. Я повторил строку стиха, переведенного Тэракура:

...в огромном мире... затеряны островки...

нет, не так уж это примитивно. Простота стиха была обманчива. Под ней открылся второй слой. Только теперь я ощутил затерянность этих камней. Часть из них, защищаясь от этой затерянности, сбилась в кучу, и потому другие выглядели еще сиротливей. Это только на первый взгляд казалось, что они раскинуты как попало. Нет, они были взаиморасположены, они составили картину. На маленькой этой сцене они изображали Мировой океан непреодолимую отдаленность... Наконец и я что-то увидел, понял, чем достигается впечатление пространства.

Может, это было даже больше, чем галактики, – это были людские судьбы. Отчаянное одиночество людей, заточенных в свои легкие деревянные домики. Маленькая японка и этот парень в темных очках, их разделяло несколько метров, а на самом деле – космические дали. Чужие, незнакомые, они понятия не имели друг о друге, они существовали рядом лишь для меня, я единственный, кто мысленно соединил их. Как знать, может, они были бы счастливы друг с другом. Может, для каждого из них это наилучшее сочетание, самое счастливое. Браки заключаются на небесах, я был небесами, богом Саваофом, обзирающим сверху свое хозяйство и эту затерянную парочку.

Я вдруг сказал об этом Сомову. Богу тоже надо иметь общество, надо с кем-то делиться.

– Неужели ты до сих пор веришь в эту легенду о двух половинках яблока, о том, что есть на свете только одна-единственная предназначенная тебе душа? – И на лице его появилась усталость, не его собственная, а усталость всех преподавателей мира, вынужденных объяснять который раз одно и то же. – Из скольких знакомых парень делает свой счастливый выбор? Из двадцати девушек? Из сорока? Ну максимум из пятидесяти знакомых ему, доступных для обозрения. Практически это самое большее, что есть в распоряжении... Допустим, что ему повезло. Случай ему помог с вероятностью один к двум, ну пускай к трем, к четырем. Итого – одна из двухсот. Это значит, что на каждые двести девушек есть одна, которая могла бы составить счастье его жизни. Следовательно, таких единственных в мире, таких чудес света, неповторимых и самых лучших, существует для него в Ленинграде тысячи три, в Советском Союзе, соответственно, тысяч сто...

Я давно его не слушал. Как всегда, он был точен. Ученый человек жаждет точности. Он будет биться за какую-нибудь сотую, тысячную и прохлопает самую грубую ошибку.

Я подумал о Тане. После того как она ушла, у меня была, согласно вычислениям Сомова, масса возможностей найти замену. Но не нашел. Сто тысяч – и ни одной,

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
которая могла бы заменить ее. Она была далеко, а то, что нас разделяло и казалось неодолимым, выглядело отсюда ничтожно малым. Так я, наверное, и не узнаю, почему мы расстались. А что, если она не стала спорить потому, что я не понял ее правды и своей вины, не хотел об этом думать... Она всегда уверяла меня, что я первый ее брошу, а я уверял, что она. "Вот видишь, - сказал я, - кто был прав". Впервые она не стала спорить.

Разумеется, Сомов точен - существует пять, десять тысяч человек, которых можно полюбить, но когда полюбил, остальные каким-то образом начинают исчезать, меняться, и вскоре не остается никого, кроме этой одной-единственной. И вся сомовская матлогика идет псу под хвост. Единственная, неповторимая ("как странно, что ты тоже купила билет в этот вагон", "что было бы, если бы мы не встретились?") становится такой по мере того, как ты наделяешь ее своими чувствами, и все остальное душа отторгает, поскольку оно чужое, несовместимое. Островерхий, тронутый голубоватым мхом камень напомнил о Тане потому, что в Заонежье рос ягель, мы шли в ту весну по лесным дорогам до Пудожи, ее родного деревянного городка, с деревянными тротуарами и старинными колодцами с большими обтертыми воротами. А может, потому, что камень этот лежал одиноко, вершина его была расколота, из расщелины несло тьмой и холодом.

Какой из этих камней был я? Только сейчас, выбирая, я заметил, какие они все разные, эти камни. У каждого была своя не то что форма, а свой образ. Приземистые, удобно плоские, выветренные, в мелких трещинах, лобастые, зазубренные... Любой я мог приладить к себе. Я мог считать себя компанейским в группе этих камней, мог считать себя гордецом-одиночкой, мог угловато-неудобным, мог считать себя вот этим, чуть вылезшим на поверхность, а все остальное в земле, невидимое, скрытое, мог отнести к себе веселые слюдяные блески...

В сущности, оказывалось, я толком не знал, какой я есть. Я мог указать подходящий камень для Сомова, для Игоря, для любого из друзей, а для себя не мог. Любой - значит, никакой. Получалось, я сам не знаю на что я похож, каким я выгляжу, что я представляю собой. Глеб Фокин, имеющий рост 176 сантиметров, высшее образование, вес 80 килограммов, военное звание капитан танковых войск... Столько лет прожить с самим собою и не представлять, что я есть: добрый или злой решительный, твердый или слабый, скрытный или откровенный; мне всегда кажется, что я могу быть таким, а могу и другим. "Познай самого себя" - я ведь иногда этим не занимался, и в голову не приходило. Других - да, пожалуйста, с интересом, даже иногда довольно тонко и точно раскрывал... Да, хорош гусь!

6

О ПЯТНАДЦАТОМ КАМНЕ НИКОЛАЯ СОМОВА

Всего я насчитал четырнадцать камней. Почему такое число? Тэракура-сан обрадовался моему вопросу На мом деле всего камней не четырнадцать, пояснял он а пятнадцать. Один какой-нибудь камень всегда заслонен.

И, демонстрируя этот сюрприз, взял меня под руку, провел несколько шагов. Незаметный до этого камень открылся. Я сосчитал - но снова их было четырнадцать. Мы передвинулись, и опять один из камней спрятался и появился другой. С любой точки можно было видеть четырнадцать и никогда все пятнадцать.

Это была наглядная модель познания, метафора науки. Обязательно остается что-то неизвестное, неучтенное. Мы уверены, что мы видим то, что есть, до конца, и в голову не придет, что есть что-то еще чего мы не видим. Все зависит от точки зрения я известный физик, самой настоящей науки рационалист, ко всему подходящий скептически, способный все разъять, вычислить, он делает что не верит мне, и втайне побаивается, немного завидует меня - Ему хочется найти уязвимое место у меня, не быть обремененным славой и знаниями... Что ж, и такой Сомов существует.

В моей лаборатории этот Сомов выглядит иначе. Там я фантазер, мыслящий парадоксально, любитель всяких неожиданных вещей, вроде грузинской музыки. Ребята осуждают меня за то, что слишком много разъезжаю, представляюсь на всяких симпозиумах, перешел на общее идейное руководство. Недавно старик Климов спросил меня, разбираюсь ли я в том, что делают мои гаврики. Я поспешно подтвердил - как же иначе. Старик хмыкнул: "Значит, они работают не на современном уровне".

Я тут же подумал, что как раз я плохо понимаю их работы, и прежде признался бы в этом с легкостью, а тут вот убоился. И далее я подумал, что все то, что я последнее время делаю, может делать любой кандидат, только ему будет труднее пробивать это, чем Сомову. Пока что я хорош тем, что не мешаю. Существует, значит, и такой Сомов.

А есть за ними пятнадцатый, скрытый от всех камень, тайный Сомов, который давно замыслил побег в обитель чистую... Там ждет старая, забытая всеми задача электростатики, и так славно было бы засесть за нее самому, поковыряться, не торопясь, со вкусом. Господи, кто бы только знал, как надоело мне руководить, возглавлять! Ничто не заменит тех мучений, той особой сладости разобраться самому от начала до конца, своим умом, своими руками. Иногда еще снится полутемный закуток, жар паяльника в руках, все, как было у нас в Политехническом сразу после войны. Сидит во мне старомодный одиночка образца прошлого века. Этаким романтик-отшельник типа Ампера или Столетова, индивидуалист, не созвучный нынешней науке. Душить его надо, прятать, чтобы не мешал. Ибо проблема, которой мы заняты торможение коррозии, – насущная, экстренная, и никто не разрешит менять ее на милые сердцу пустячки. Да и я сам... видно, так это и останется пустыми мечтаниями того Сомова, которого я прячу от всех как слабость. Накануне моего отъезда отмечали сдачу этапа. Пили за новую программу, рассчитанную на три года, а фактически на шесть лет, на десять, до конца моей жизни.

Мы возвращались с Климовым. Он сказал:

– Довольна твоя душенька? Слыхал, как тебя нахваливали?

– Не меня. Некого Сомова. Хотелось бы раз и на всегда выяснить, в чем проявляется этот Сомов отдельно от своего сплоченного творческого коллектива.

– В чем дело, чем ты недоволен? – спросил Климов. – У тебя талантливые ученики, инициативные сотрудники, они воплощают, доводят твои идеи.

– А я хочу быть сам по себе. Надоело мне быть соавтором. Надоело раздавать идеи, заставлять других воплощать... Не желаю, – вдруг огрызнулся я. – Вы кто? Вы член госкомиссии? Я вам официально заявляю, что подаю в отставку.

– И что будешь делать?

– Найду что делать. Займусь электростатикой

– Ух ты! Кому это нужно? То есть, может, что и получится. Но пойми: если и получится, так ведь это семечки по сравнению с твоей темой. Пусть она не лично твоя. Разве это важно? Что нужнее: сделать табуретку или построить дом? Ты что можешь сам, своими силами – табуретку, не больше. У тебя восемьдесят человек. Восемьдесят голов, – сказал Климов. – Что бы ты сам ни сделал, это будет меньше. Да, жертвовать собой, да, ради этих гавриков, да, отказываться от собственной работы... Устраивает? А как ты полагаешь, допустим Курчатова или Вавилова, они ничем не жертвовали?..

Медленно, торжественно падал снег. Мы шли по Садовой. На Климове была потертая кроличья ушанка еще первых послевоенных лет, полученная по ордеру. Он любил старые вещи. Он был похож на старенького бедного продавца лотерейных билетов. Никто не подумал бы что красноносый старичок – член всяких иностранных академий и вообще...

– Вернешься из Японии, – сказал он, – поговорим. Кстати, будешь в Киото – поинтересуйся там садом дзэн.

На что мне этот сад дзэн? Чем он поможет? Как будто эти камни ответят. Еще два-три года – и конец. Для экспериментатора – предельный возраст. Для каждой специальности есть свой возраст расцвета. Через три года уходить будет некуда. Буду держаться за должность, буду оправдывать свои жертвы, как это делает Климов, и очень любить своих учеников за то, что они позволяют мне еще жертвовать собой...

КАК НЕПРОСТО ДУМАТЬ О САМОМ СЕБЕ

Скоростной лифт поднял нас на вершину токийской радиобашни. Нечто вроде Эйфелевой и, конечно, выше ее, все башни теперь стараются быть выше, хоть чем-то переплюнуть ее. Вдобавок, она стояла на холме, над Токио. Лифт привез нас в застекленную обзорную галерею. Токио лежал где-то внизу, многие вообще не обращали на него внимания, а толпились у прилавков сувениров. Красивые девушки продавали золоченые башни, торты с башнями, открытки, слайды, кукол, напитки.

- Вы не знаете, что это за виски? - спросила меня по-немецки похожая на мартышку маленькая девица в круглых черных очках.

- Виски "Сантори"? Отличное виски, - сказал я, потом сконструировал для светскости еще одну фразу: - Лучшее виски из тех, которые я не пил.

Наверное, она была испанка или итальянка. Может быть, она улыбнулась, - за этими огромными модными очками не разберешь.

Она купила бутылочку, а я купил буклет цветных фото. На них город выглядел веселее. В натуре он был скучен. Даже Нью-Йорк с крыши "Эмпайр стейт билдинг" не казался таким безнадежно серым, как Токио. Солнце уличающе высветило пепельно-серую бетонную геометрию зданий, площадей, эстакад, стадионов. Редкие сады и парки ничего не могли поделаться с этой каменно-чадящей пустыней. Собственно, пустыни-то не было что-то там внизу копошилось, сверкало, дымилось. По бетонным лентам ползли поезда, машины, и в пазах улиц шныряли машины, но все равно ощущение безжизненного механизма исходило от этого бетонного устройства. Огромный механизм работал, железо двигалось, но назначение этой огромной распластанной машины было непонятно. Она не имела определенного профиля, четких границ. Она поражала лишь размерами. Хорошо, что с одного края ее пресекало море, но там, где не было моря, город расплзался, сливаясь в бесформенно-грязноватую массу, сходил на нет и все же тянулся бесчисленными деревянными домишками, стиснутыми до духоты, и дальше уже неразличимо колыхалось что-то едкое, нечистое словно дыхание больного. Даже Сомов был несколько подавлен этой панорамой.

- Похоже на мусорную свалку, - тихо сказал я, так, чтобы Тэракура не слышал. - Никогда я еще не видел такой большой свалки.

- Хоть и свалка, а сколько труда, - возразил он неохотно. - Что, оказывается, может сделать человек, - целую страну. Конечно, не хватает красоты. Вернее, общей цели, единого замысла.

Он говорил вяло, как-то машинально, надеясь, что я его прерву. Я дождался, пока он истощенно умолк.

- Какой тут может быть замысел? Это всего-навсего машина для производства отбросов.

Неужели он не видел тусклого, мертвого блеска целлофана, пластика, заваливающего все это пространство, весь остров, горы банок из-под кока-колы, пива, упаковки с названиями фирм, бутылки, покрышки, свалки старых машин, транзисторов, холодильников, пластинок аккумуляторов? Город извергал отбросы; вещи, едва появившись, устаревали, становились отбросами. И некуда было девать эту старую синтетическую обувь, сорочки, парики, канистры, тюбики, капсулы от пилуль, зажигалки...

Где-то внизу, в каменных выбоинах улиц, продавали цветы, фрукты. Был февраль, а на лотках лежали груды желтых грейпфрутов, груш и пушился салат, извивались огромные огурцы. По ним нельзя было определить, осень сейчас или зима. Клубника продавалась круглый год, по-летнему блестящая, пахучая. Времена года в бетонных укрытиях города почти не ощущались. И утро было не отличить от дня. Белый свет дневных ламп освещал офисы, универмаги, отели. Гудели кондиционеры, поддерживая постоянную температуру. Подземный Токио, с его ресторанами, супермаркетами, улицами, кафе, вообще не знал, что там наверху - дождь, мороз или солнце. И летом, и зимой работали катки, лыжные трамплины. Жалюзи моего номера в отеле никогда не открывались, да и зачем...

К нам подошла эта мартышка в черных очках.

- Хотите глотнуть? - она протянула мне бутылку виски "Сантори", там осталось немного. - Давайте, давайте. Вы не из нашего автобуса? Слава богу, оказывается, есть еще люди не из нашего автобуса. А из какого вы автобуса?

- Мы из России.

- Господи! - она сняла очки и уставилась на меня своими припухшими синими глазами. - Никогда не пила с русскими.

Я налил в колпачок. Виски действительно было отличное.

- А этот синьор? Сомов покачал головой.

- Он пастор?

- Нет, - сказал я, - он апостол. Он апостол научно-технической революции. Она засмеялась. У нее были красивые зубы и крепкие блестящие щеки.

- А что вы тут делаете, в этом... - она остановилась и посмотрела вниз на город. Ручаюсь, что она впервые посмотрела вниз. - Послушайте, это что?

- Токио.

- Токио? - повторила она. - Зачем я сюда приехала? Синьор апостол, вы не знаете?

Я и не подозревал, что Сомов может объясняться по-итальянски. Мартышка расцвела, а я с гордостью слушал, как старательно Сомов выговаривал слова.

- Вы меня обманываете, - сказала она по-немецки, - никакая это не Япония. Меня привезли не туда.

- Это он виноват, - я показал на Сомова. - Он построил этот город. И эту башню.

- На кой черт? - сказала она. - Сверху лучше не смотреть, все так безобразно.

- Вавилонская башня, - сказал Сомов. - Наконец-то ее достроили.

Вряд ли она поняла, что он имел в виду. Она что-то долго объясняла Сомову, слезы показались у нее на глазах.

- На какую тему она плачет? - спросил я.

- Не поймешь. Говорит, что слишком много людей. Она выиграла в тотто и купила туристскую путевку. Всю жизнь она мечтала поехать в Японию. А теперь не знает, что здесь делать. Дуреха, лучше бы она купила машину. - Сомов подмигнул мне. Жаль, что ты не знаешь итальянского, она бы выплакалась у тебя на груди,

Я бы предпочел, наоборот, выплакаться на ее груди. Она полоснула меня глазами, угадав мои мысли; черт знает, как это происходит у женщин, но стоит что-нибудь такое подумать, и они безошибочно чувствуют это. Из густой синевы ее накрашенных ресниц вышли монахи в бурых власяницах, с выбритыми тонзурами, они усадили ее в паланкин, она закричала, я выхватил шпагу, но тут открылись ворота замка, и ко мне поскакали норвежцы в шлемах и западные немцы с самурайскими мечами.

"Спасайся!" - крикнула синьора. Но я принял бой... наверное, я победил. Конь мой устало трусил по узким улочкам Токио. Старинный Токио, которого нет и не будет. Этот город напоминал Киото, Курасики, отчасти Таллин и старый Псков, он был похож на Зурбаган, на города, где в детстве мы совершаем подвиги и любим безответно, преданно, как любят, когда еще не знают любви. В стрельчатых окнах поднимались жалюзи, чьи-то глаза следили за мною.

- Синьора! - крикнул я.

Она махнула рукой, норвежцы в беретах заслонили ее и западные немцы, увешанные фотоаппаратами. У всех в карманах торчали зеленые картонки, и гид поднял зеленый

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
флажок, уводя их к лифту.

Я опустил монетку в автомат. Объектив телескопа открылся. Поднимались и опускались самолеты. Автобус с зеленым флажком вез синьору сквозь Токио, а может, это был Детройт. Мелькали те же мини-юбки и макси-пальто, пахло тем же кофе "эспрессо", на экранах стрелял тот же агент 007, щелкали те же "кодаки". Токио незаметно переходил в Осаку, а Осака - в еще какой-то город, все было одинаково, как пилюли, поднимающие тонус, успокаивающие, снимающие усталость, пилюли снотворные, противозачаточные, стимулирующие...

Затем я навел телескоп на Сомова, в серой скважине его глаз печально горели нити накала анодов, и катодов, и электронных множителей.

- Зачем ты сгубил ее душу? - спросил я.

- Она работает в пуговичной мастерской, - сообщил Сомов. Как, по-твоему, существует итальянская пуговица? - Он был чем-то расстроен. Несмотря на это, он продолжал задавать свои излюбленные дурацкие вопросы. Телескоп захлопнулся. Шторка опустилась, и в объективе стало темно. -... Мы можем изменить, но не остановать, - продолжал Сомов. - Все ваши слюни и заклятия - сентиментальная труха... Борьба с техникой - все равно что бороться с природой... - и тому подобное, и прочие, прочие железобетонные неумолимые аргументы.

Города у него сливались с городами, закрывая бетоном землю, они прорастали вглубь тоннелями, подземными заводами, расползались, заглатывая деревни, моря. Рис выращивался в лотке, в камне, и чай и яблоки росли под круглосуточным светом дневных ламп, под гул кондиционеров. И новые поколения находили в этих пейзажах свою лирику.

- Ты лапотник, гусяр, - сказал Сомов. - На тебе еще десять иен и посмотри вон туда. Там Черемушки. Купчино. Тот же стандарт. Мы поносим наших архитекторов, они - своих. В Токио строят, как в Барнауле. И квартиры такие же. Квартплата только другая. Можете плакать со своей итальянкой над японскими домиками из кипариса, над горницами, новгородскими пятистенками с резными наличниками над колодцами. Их сносят. Ничего от них не останется. Не будет ни твоих любимых татами, ни жаровен, потому что дома проще строить бетонные и обогревать их электричеством. Несмотря на всю твою скорбь, придется японцам дома сидеть на стульях, за нормальным столом и спать на кроватях. Ничего не поделаешь. Так удобнее. Не сидят же они в автомобиле, скрестив ноги. Боюсь, что они сами не прочь переселиться в европейские дома, да только пока это большинству не по карману. Молись, чтобы остались палочки да чайная церемония...

Можно было подумать, что он вещает с этой радиобашни на всех диапазонах, радиопророк. Иногда мне удавалось подставить ему подножку, сбить его, и тогда он смотрел на меня опечаленно, откуда-то из неодолимого, неизбежного будущего. Он был его представитель, посланный к нам для разъяснения, а не для споров. Сидя перед Садам камней, я представил себе, что получится, если вместо этих камней сделать бетонные параллелепипеды, вместо белого песка - асфальт, вместо деревянных ступенек - застекленный зал радиобашни. Ничего не получалось.

Будущее, которое рисовал Сомов, было неизбежно. Но когда Японию сделают сплошным городом, когда все острова зальют бетоном, что увидят люди, глядя на Сад камней? Что они почувствуют? О чем они задумаются?

Я вдруг сообразил, что для каких-нибудь придворных эпохи Тэйкэ или эпохи Сётоку мы с Сомовым и Тэракура-сан были бы тоже непонятными, нелюдями. А между тем пятьсот метров радиобашни были для меня ниже, чем высота этих старых деревянных ступеней.

Скинув пропотелые шлемы, усаживались рядом со мною сегуны, грохоча тяжелыми мечами, приходили сюда князья и их самураи. Одних только князей набралось бы за эти столетия тысячи. Целый стадион. Представляете - полный стадион князей, сидят себе тихо, смотрят на камни и думают. Только что жгли, рубились, казнили, пытали - и вот приехали, оставили на площади коней и слуг и уселись... Что их влекло сюда?

Учение дзэн проповедовало мужество, настойчивость, столь необходимые военным людям. Недаром дзэн было популярно среди военного сословия. Дзэн требовало воли

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
для самоограничения. Может быть, безжизненная красота этих камней позволяла думать не о людях, а о человечестве. Наверное, это была немудреная философия. Без всякой книжности, простая, доступная любому простолюдину. Но все же они думали и что-то происходило в их средневековых душах. А кроме них тут сидели монахи, поэты, купцы. Приходили художники, чиновники, звездочеты и гейши, студенты и ремесленники...

Одни находили здесь модель вечности, неизменный мир, отрешенный от всех страстей быстротекущего времени. Другие аскетическую простоту, лаконизм, самоограничение, жестокое и в то же время дающее волю фантазии... Некоторые учились созерцанию, а созерцание должно было привести к пониманию страдания, причины страдания, затем спасение и пути к спасению. Это целая лестница всяческих состояний, в конце которой покой, какого почему-то я нигде в этой стране не видел.

Какими-то малопонятными мне ходами учение дзэн помогало утонченным формам живописи и поэзии, и сам Сад камней был результатом этого искусства и одновременно порождал его...

Я понял, что самые простые вещи достойны стать искусством – корень дерева, клочок травы, расположение этих камней. Главное – увидеть. Можно ничего не увидеть, и камни останутся неприметными камнями, и этот сад не вызовет ничего, кроме недоумения. Сколько раз я проходил мимо, глухой и слепой к тому сокровенному, что встречалось!

– О чем ты думаешь? – спросил Сомов.

– Об одной женщине, – сказал я, чтобы он отцепился.

Я не думал о ней, хотя все, о чем я думал, должно было привести к ней. И то, что я думал о строителе этого сада, тоже относилось к ней. А я думал: создавал он Сад камней или же у него получилось? Внезапно бросил камни, как игральные кости, и увидел, что получилось. Но в чем же тогда талант, если достаточно сидеть и кидать кости? А в том, наверное, что увидел. Талант в том, чтобы увидеть там, где другие не замечают. Конечно, я догадывался, что существуют какие-то традиции, законы гармонии и всякие секреты. Достаточно сдвинуть один из камней – и картина нарушится. Художник должен знать эти законы, уметь скрывать их. Все это так, но создавал он образ не из камней, он создавал его как бы из меня, во мне. Он заставлял меня с помощью этих камней что-то увидеть, вообразить. Сад это как японские трехстишия. Япония тут ни при чем. Япония всего лишь фон, задник, вроде этой земляной стены. Так что вся штука заключалась во мне самом. А вот о себе-то я избегал думать. О чем угодно, о ком угодно, но не заглядывал в себя. Почему? Не то чтоб я боялся. Наоборот, я хотел понять, что же происходит со мной и что происходило, почему мы разошлись, я хотел понять, чего же мне надо. Я давно не заглядывал в себя, бог знает сколько лет я не оставался наедине с собою и не старался увидеть себя со стороны, понять, чего я добиваюсь. Жизнь катилась по накатанным рельсам – я получал задания, ездил, писал, разговаривал, дружил, ссорился, все время что-то делал, и как-то не приходило в голову остановиться и подумать, что тут правильно и что неверно, каким я становлюсь. Мне вдруг вспомнился один день-сколько мне тогда было: шестнадцать или семнадцать? Я лежал в траве, и смотрел в небо на облака, и мечтал, каким я стану. Я мечтал о трудной жизни и плакал, переживая будущие обиды и горести. Я бесстрашно заглядывал себе в душу, давал какие-то клятвы. Все небо было в мелких облаках, я смотрел на них и выбирал себя, взрослого, нынешнего. В сущности, небо тоже было Садам камней. Тогда, в те годы, все могло стать Садам камней. А вот сейчас я сижу в Саду камней и не могу думать о себе. Не умею. Разучился.

Но хорошо, что хоть это-то я понимаю.

8

Н. СОМОВ

– Тэракура-сан, вы часто бываете здесь?

– О да, всякий раз, когда я приезжаю в Киото.

– А для чего вы сюда приходите? Тэракура пожал плечами:

- Посидеть.
- И сколько вы тут сидите?
- Как когда. Какое настроение.
- Но перед вами всегда одна и та же картина. Константа.
- Это верно. Она не меняется. Но, может, я бываю другой.
- Она не возвращает вас к тому же самому?
- Для меня это как абстрактная картина. Я вижу то, что хочу. Она не возвращает, а, скорее, ведет дальше... - Тэракура виновато посмотрел на меня и попробовал по-другому: - Я плохо знаю дзэн. Для меня это не религия, не бог. Когда я сижу тут, мне спокойно... В Киото вообще нет суеты. В каждой стране, наверное, есть Киото. Совсем не обязательно думать о бренности жизни...

Потом он сказал такую фразу:

- Это ведь просто камни, без всякой мистики. - И еще: Американцы, те все ищут таинственного. Они хотят разгадать секрет, которого нет.

В словах его заключалось деликатное предупреждение, а может, и просьба. Мне все больше нравилась эта манера разговаривать: хочешь понять, что тебе сказали, - вдумайся в каждое слово. Чем-то напоминало моего деда, - все больше обиняком, намеком, присказкой...

- Конечно, я слишком молод, - Тэракура почтительно поклонился. - Вы, Сомов-сан, видите здесь гораздо больше.
- Или гораздо меньше.

Он подумал и обрадованно кивнул:

- Да, да, я, кажется, понимаю: гораздо меньше - значит, совсем иначе.

Черт возьми, и этот тоже, и Глеб - все они считают, что поскольку я доктор наук и автор сотни работ, то должен видеть все вокруг особо, по-своему. Они требуют с меня, как с обыкновенного таланта, чуть ли не гения. Так и я, наверное, требовал бы, допустим, с Нильса Бора, по любому поводу я ждал бы от него откровений: раз это Нильс Бор, то он обязан. Но я не Бор, я даже не Сомов, совсем не тот Сомов, за которого они меня числят. И которым я когда-то был. Но мне обязательно хочется держаться.

- Пожалуйста. Песок - это вечность, - изрек я. - Все превращается в песок. Рано или поздно камни тоже превратятся в этот белый песок. Он поглотит их. Так что время в данном случае опять торжествует. Сад камней тоже подвластен времени. Вот о чем думается. Рано или поздно все становится прахом.

Я слушал себя и думал о том, как это банально и как беспомощно в смысле философии.

Тэракура был доволен.

- Это похоже на Библию, - сказал он. - Прах ты и в прах превратишься.
- Совершенно верно. Помните, по какому поводу там это сказано? Бог наказывает Адама за то, что тот вкусил от древа познания. Людей сделала смертными страсть к познанию, то есть наука. Она нарушила вечность. Она как бы создала Время. В этой легенде что-то есть.
- Вы знаете Библию? - удивился Тэракура. - У вас читают ее?
- Конечно. Атеист должен читать Библию.
- Песок... это интересно. Ну, а пятнадцатый камень?

- Что пятнадцатый камень? Опять он ждал от меня откровений.

- Я полагаю, что пятнадцатый камень - это как ваш бог, нерешительно сказал Тэракура. - Он невидим. Мы о нем не знаем. Бог всегда прячется в неизвестном.

- Ну что ж, это красивая метафора, - вежливо похвалил я.

Он низко поклонился, покраснев от удовольствия и продолжал ждать.

Но я думал не о боге. Я думал о себе. Господь бог давно состарился, обветшал, иногда я даже жалел его таким он стал беспомощным; к нему обращаются старики или больные, помогать он давно не может, и находить утешение ему тоже все труднее. Однажды ко мне направили инженера В. Он долго добивался консультации по поводу какого-то своего открытия. Оказался, как это бывает, чем-то вроде шизика такого тихого, покорного, но неотступного шизофреника. Принялся он излагать мне математическое доказательство существования бога. Он доказывал с помощью высшей алгебры, что бог существует. Между прочим, ход его рассуждений был грамотен, без явного безумия. Вычисления казались вполне логичными. От него исходила завораживающая убежденность, я еле вырвался из нее, как из дремоты. Я согласился, все правильно. Допустим, правильно, но что от этого изменится? Мир живет по непреложным законам, на что может пригодиться бог, даже если он есть?

Он не в силах переступить законы, нарушить их, создать новые.

Инженер был озадачен. Он ушел выяснять - опять же математически - необходимость бога. Как знать, может, сейчас он сидит где-то и завершает окончательные расчеты.

- Бог, который прячется в пятнадцатом камне, - сказал я Тэракура, - существовал оттого, что человек не мог подняться, оторваться от земли. Достаточно посмотреть сверху, и тогда увидишь все разом, все пятнадцать камней. Человек должен смотреть на свой мир и сверху.

Тэракура задумался, глаза его совсем смежились, только тоненькие черточки остались под изломом бровей.

(У него хватало всякого мусора в голове, но зато он ненавидел капитализм куда конкретнее нас. Потому что он знал его лучше. Он жил в нем. Он знал про его ложь и фарисейство, про гнусность университетских порядков, продажность чиновников, про то, как хозяйничают в физике крупные фирмы, - множество вещей, о которых я и понятия не имел, я знал японскую физику по журналам, по встречам на симпозиумах и конгрессах. Мы знаем капитализм по книгам и газетам. Мой отец ненавидел Романовых сильнее, чем я. Для меня Романовы, самодержавие, Распутин, Вырубова и прочее - это история, где больше диковинного, чем ненавистного.)

- Но я боюсь, - сказал Тэракура, - что сверху Сад камней вообще неинтересен. Сверху... - Он откинул голову, пытаюсь представить себе: - Допустим, с самолета.

- С самолета... - повторил я.

... Они заседали в кабинете военного министра США Стимсона. Решался вопрос о выборе цели. Имелись две атомные бомбы, и обе надо было сбросить. На Японию.

Собственно, капитуляция Японии не вызывала сомнений. Бомбы имели другое тайное назначение - их сбрасывали, чтобы показать мощь нового оружия. Показать кому? Естественно, не Англии, и не разбитой Германии, и не какой-нибудь Швеции.

Имелась единственная страна, которую новый президент Трумэн и его советники считали необходимым устрасить. Это мы.

Из американских книг можно было представить себе, хотя бы примерно, как происходили этот и подобные ему разговоры. Все выглядело весьма прилично.

Л с г. и (начальник штаба верховного главнокомандующего). Подобные методы войны неприемлемы для солдата и моряка моего поколения.

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

С т и м с о н. Я вовсе не хочу приукрашивать моральные качества этого оружия, но моя задача – закончить кампанию ценой наименьших жертв среди солдат, которых я сам помогал растить.

Л с г. и. Вторжение на острова вообще вряд ли нужно. Военный флот Японии фактически разбит. Ее перенаселенные города и промышленные центры – классические объекты для действий обычной стратегической авиации. Маршалл (начальник штаба армии США). Опыт Германии показал, что решающего успеха обычной бомбежкой не добиться.

Л с г. и. Тем более. Даже если мы применим новое оружие, все равно исход кампании решат флот и вступление в войну России. Бирнс (личный представитель президента). Сейчас обстановка иная, нам нужен разгром Квантунской армии, а не установление русского контроля на Азиатском материке, Россия подтвердила свои обязательства, она вступит в войну независимо от наших действий.

Г р о в с. Хотел бы я посмотреть, как, не применяя бомбы, правительство отчитается за два миллиарда долларов, израсходованных на нее.

ферми. Вряд ли человеческий ум может выдумать что-либо более оскорбительное для американского народа.

Стимсон. Господа! Нам предстоит дать рекомендации относительно действия, которое, возможно, изменит ход истории. Но это не значит, что нам позволено ставить под сомнение решение правительства. Поэтому я прошу говорить только по существу. Прошу вас высказаться, профессор Оппенгеймер.

Оппенгеймер. Я не имею сведений о военном положении Японии, поэтому я не знаю, можно ли заставить ее капитулировать другими средствами...

Стимсон. Перед комитетом ученых ставился вопрос не о том, надо ли использовать бомбу, а о том, как ее использовать. Поэтому прошу докладывать только по этому вопросу.

Оппенгеймер. Для достижения максимального эффекта избранные объекты должны представлять собой тесно застроенную площадь из скученно расположенных зданий и других сооружений. Желательны деревянные постройки, они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Цель следует выбирать из объектов, которые до этого не подвергались бомбардировке, чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным. Применять ее следует без предупреждения...

Бард (заместитель военно-морского министра США). Нельзя выиграть войну, уничтожая женщин и детей.

Оппенгеймер. Я расцениваю свое выступление как технический отчет комитета ученых на поставленный президентом технический вопрос.

Г р о в с. Комитет по выбору цели предлагает на случай облачности иметь при каждом вылете на выбор не менее трех-четырёх городов-мишеней. Стимсон. Какие конкретно?

Гровс. Хиросима – пункт формирования морского конвоя, двести тысяч жителей; Кокура – военный арсенал, двести тысяч жителей; Ниигата – крупный металлургический завод, двести тысяч жителей; Нагасаки – порт, триста тысяч жителей.

Л с г. и. В Нагасаки расположен лагерь наших военнопленных. Гровс. Но там важные военные доки.

Л с г. и. В них, по-видимому, и работают военнопленные. Гровс. Тогда я предлагаю Киото, прекрасная равнинная цель с миллионным населением.

Стимсон. Киото?.. Я там был. Это же древняя столица Японии... Там великолепные памятники старины... Нет, этого нельзя допустить. Пока они выбирали цель, мы бродили по Киото.

Нет, не так.

Пока мы бродили по Киото, мне все время казалось, что они выбирают цель. Замка

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru не будет. Каменного дракона на перекрестке не останется. Дворца в парке не останется. Больше всего мне было жаль тесных, узких улочек старого Киото. Мы бродили в теплой тьме, расщеченной светильниками, фонариками над дверями, легким светом из окон. Двери открывались, звенели колокольчики, взмах голубого света резал проулок. В яркой щели возникали, как в моментальном снимке, скользкое женское плечо, деревянный поднос, блеск бутылок. Свет был полон звуков, музыки, смеха, стеклянного звона. Потом дверь захлопывалась, возвращалась тишина, в темноте щелкали каблуки или стучали деревянные сандалии, все было таинственно и весело. Лабиринту этих переулочков, улочек не было конца. Сотни крохотных заведений, каких-то ресторанчиков, ночных клубов, кафе теснились одно к другому, и каждое было чем-то знаменито, чем-то отмечено. Киото, в отличие от Токио, не зазывал, не навязывался, казалось, он веселится для себя, не нуждаясь, не ища приезжих клиентов. Казалось, мы попали на чужой праздник, и от этого было еще интересней. Улочек этих тоже не будет, хрупких домиков из кипариса, с темно-коричневой гладью полов, с переплетами, обтянутыми бумагой...

Глеб безмолвно торжествовал. Ну что ж, я признавая прелесть старого Киото, я мог любоваться вместе с Глр бом изделиями гончаров Киото. Мы восхищались золотые шитьем кошелечков, не было двух одинаковых кошелечков. Лавочки огромного крытого рынка были набиты всякими мелочами – фигурки, платочки, корзинки кольца, зажигалки, подставки, разнообразию их не было коп па, казалось, каждая зажигалка сделана на заказ отдельно, другой такой зажигалки нет ни у кого... Министр Стимсон, будучи еще генерал-губернатором Филиппин, приезжал в Киото. То ли он был человеком любознательным, то ли его водили по всяким достопримечательностям, во всяком случае он сохранял прелестные воспоминания о парках и дворцах, конечно и о Золотом павильоне, который так красиво стоит над водой в которой так красиво отражаются его золотые стены которые сами по себе светлого золота, и в воде они видятся темно-золотыми, и всякие беседки. Он побывал в Саду камней и сидел здесь, размышляя над своими губернаторскими делами или над какими-нибудь личными проблемами, кто его знает, внутренняя жизнь американских министров проходит для меня в полной неясности. Вероятно, дороге его сердцу воспоминания сделали военного министра неуступчивым, и он упорно стоял на своем. Подобная сентиментальность удивляла генерала Гровса. Он считал ее совершенно неподходящей для военного человека. Для него город Киото был удобной мишенью. Город располагался на равнине, где ничто не могло мешать действию взрывной волны и можно будет точно определить радиус ее действия. Мишень имеет население больше миллиона человек, много легких построек... И хотя Стимсон был военным министром, этот Гровс не побоялся настаивать на своем, проявляя как он считал, убежденность и принципиальность. Он никак не хотел расстаться со своей идеей. Он по-своему тоже любовался Киото как самой наилучшей целью.

"... Киото сохранил для меня притягательность в основном из-за его большой площади, допускающей оценку мощности бомбы. Хиросима с этой точки зрения нас не вполне устраивала..." – так писал Гровс в своих воспоминаниях.

Сад камней в Киото остался ценой Хиросимы или ценой Нагасаки. Но ведь и в Хиросиме что-то было, какой-то свой Сад камней, свои неповторимые вещи, которые разрушены и исчезли навеки. Потому что такую вещь, как Сад камней, наверное, восстановить невозможно.

Если даже сделать самые точные фотографии, произвести все замеры. Непонятно, в чем тут секрет.

А секрет был, я его чувствовал, но еще не верил, потому что всегда был убежден, что любую вещь можно измерить, вычислить, что в конце концов все можно свести к формуле, к цифре.

Но тут – заставь меня воссоздать этот Сад камней – я бы не взялся. Существовало в нем неизвестное, какая-то добавка, черт его знает что, из чего все складывалось в одно целое, образ, что ли, и я никак не мог смириться с тем, что это нельзя выразить точными понятиями.

Вот Гровса я мог выразить. Гровс был ясен. Ему нужно было добиться максимального радиуса поражения и явить миру и начальству итог своей четырехлетней беззаветной деятельности. До последнего дня он настаивал на разрушении Киото. Стимсон не соглашался, и Гровсу пришлось довольствоваться Нагасаки.

Я вдруг обнаружил, что я боюсь за Сад камней. Что я рад, что он сохранился. Что

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
если б он исчез, я бы чего-то лишился.

9

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИВОДИТ

Г. ФОКИНА В СОСТОЯНИЕ ВОСТОРГА

Наконец-то мы заблудились... Давно я мечтал заблудиться в чужом городе, потерять всякое представление, куда идти, где наш отель, в котором спит Тэракура, где центр, где север, где вокзал, так, чтобы стали безразличны любые повороты и перекрестки. Киото в этом смысле самый лучший город. Нигде нельзя так хорошо заблудиться, как здесь. Мы почувствовали себя обездоленными бродягами, готовыми шататься по кабакам, зарабатывать на тарелку риса, разгружая машины. Ничего другого полезного мы делать не умели. Когда Сомов устал, мы уселись на набережной какого-то канала и стали гадать как называется наш отель. У него было слишком простое название. Такие названия запомнить невозможно. Кроме того, стоит человеку заблудиться и сразу все исчезает из памяти. Я вспомнил, как назывался наш отель в Нагасаки и отель в Кракове, где я жил шесть лет назад, а Сомов обрадовался, вспомнив, как называлась деревня, где он двухлетним ребенком пережил наводнение.

- Кошкино! - повторил он ликуя. - Кошкино! Ты знаешь, это мучило меня давно. Самое страшное, что некого спросить. Родители умерли, дядя умер, а сестры моложе меня. Мы жили в Кошкино! Лодка подплыла к окну. Это первое мое воспоминание о жизни. Я сижу с матерью у окна, на лодке подплывает отец. Почему запечатлелась эта картинка?

- Потому что необычайность.

- Для двухлетнего все необычайность. И мы принялись рассуждать о механизме памяти. Поскольку мы заблудились, времени у нас стало много, нам некуда было спешить и нечем было себя ограничивать.

Мимо прошла компания подвыпивших мужчин. Вдруг один из них, услышав наш разговор, остановился.

- О, русские! Здравствуйте, - сказал он, с восторгом выговаривая каждое слово. - Я приехал из Москвы. Я был у Сергеева. Я инженер-строитель.

- Очень приятно, рад с вами познакомиться, - ответил я в стиле разговорника, - мы тоже приехали из Москвы.

- Да, да, это хорошо, - тотчас подтвердил он. - Господин Сергеев хороший человек. Вам нравится господин Сергеев?

Он ни на минуту не сомневался, что мы знаем Сергеева, нельзя было не знать Сергеева, начальника отдела какого-то строительного главка. Вся строительная технология, вся Москва, все гостеприимство нашей страны сосредоточивалось в Сергееве. Признаюсь, был момент, когда огромная ответственность, возложенная на Сергеева, внушила мне тревогу. Одно неосторожное слово Сергеева могло пошатнуть репутацию миллионов. Господин Одани (он немедленно вручил нам свои визитные карточки) судил о всей России по Сергееву. И Сергеев не подкачал, он был молодец, этот Сергеев, он держался скромно, он был остроумен, радушен, он знал свое дело, у него была дружная семья и чудный сынишка, и жена у Сергеева умела печь пироги.

- Это знакомые господина Сергеева! - объявил он своим приятелям, и нас потащили в кафе, потом в рыбную ресторацию, потом усадили в машину, и все поехали с нами искать наш отель. Перебрав несколько отелей, мы решили отдохнуть и поднялись на гору полюбоваться огнями Киото.

К тому времени из знакомых мы превратились в друзей Сергеева, в его родных, в нас находили сходство с ним.

Сверху ночной Киото сиял, как витрина лучшего ювелира. Опаловые огни светились матово-притушенным жемчужным светом. Если бы у меня было хобби, то это были бы ночные города, я собирал бы огни ночных городов. Ночью исчезают трущобы, лачуги,

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
остаются огни – цепочки фонарей, вывески, реклама, подсветка, движение машин, и все машины одинаковы, окна домов, кружки площадей, темные провалы парков. Глухо поблескивают каналы. Огни движутся, гаснут, а где-то загораются... мигают светофоры, несутся огни электричек... Я вспоминал огни Киева и огни Ленинграда, железнодорожные огни Чудова.

Я уж не помню, как мы очутились в отеле. Утром нам принесли цветы, альбомы видов Киото и большие пакеты, перевязанные ленточками. Я развязал ленточку, потом надорвал разрисованную цветами вишни бумагу. Там была картонная лакированная коробка. Я открыл коробку. Там была пушистая толстая бумага. Внутри нее покоился деревянный футлярчик. Я открыл футлярчик. В нем лежало что-то завернутое в нечто белоснежное и легчайшее. Что-то было значком, маленьким значком с гербом Киото. На нас обрушилась вся сила ответной любви и гостеприимства господина Одани. Мы тут были ни при чем. Мы вкушали плоды, возвращенные неведомым нам инженером Сергеевым.

– Соображаешь, – сказал мне Сомов. – Вот и в этом тоже нынешний смысл "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что это самый лучший, самый современный и нравственный лозунг человечества.

Заметь – пролетарии!

То есть рабочие, производственники, создатели техники...

А я думал о Сергееве. О том, как он, сам не ведая того, помог нам. Стоит сделать добро, проявить сердечность, внимание, и обязательно где-то, кому-то это отзовется. Я вспоминал заграничных гостей, которых приходилось мне принимать. Не всегда я делал это охотно. Жаль было времени, сил. Казалось, что мне эти люди, которых я вряд ли когда еще встречу. Сергеев преподавал мне урок. Инженер Сергеев никогда не был и, наверное, судя по словам господина Одани, не собирается быть в Японии. Мы за него любовались видом на Киото, смаковали каких-то розовых маленьких рыбок и густое, тягучее китайское вино. Благодаря Сергееву в Киото появились у нас друзья, а город, в котором у тебя кто-то есть, – это уже совсем другой город. Нет, нет, добро не пропадает, скорее зло может пропасть, сгинуть в чьей-то душе, зло можно простить, забыть, а добро, оказывается, не прощают. Мне припомнилось несколько примеров из моей жизни мог бы пригреть, принять, вмешаться, но не делаю: то по лености, то по душевной глухоте, а чаще от стеснения. Я давно заметил, большинство людей стесняются. Приласкать собаку или какое-нибудь животное не стесняются, а человека – неловко...

В Паре, вокруг храма Тодайдзи, бродили олени Редкие деревья парка сквозили солнцем, черные тени ветвей сплетались, как рога, а гороховая трава зимы сливалась с гладкой желтизной оленьего меха. В ларьках продавалось печенье для оленей. Мы купили несколько пачек и олени тотчас окружили нас. Они ели с рук Маленькие олени тыкались носами в ладони, взрослые чинно шли рядом с нами, ожидая своей очереди. Среди них были исполненные чувства достоинства венценосцы, они оказывали милость, принимая угощение. Были нахалы, нетерпеливо фыркая, они требовали своей порции, намекаяще толкались в карманы. Были робкие скромники с печально просящими глазами. Они явно били на жалость и получали больше других. Зоосад не выявляет характеры. Животные в клетках безлики, они лежат там, как чучела, наглядные пособия, и маленьких грязных клетках они не могут показать своей сообразительности, ума, ловкости. Всем этим медведям, страусам, лисицам не приходится решать задач, какие ежечасно они решают на воле. Они ничего не делают. Они от этого тупеют. И показывают себя угрюмыми и злыми. Наши зоопарки – это показ мучительства. Это зверинцы, порождающие не любовь к животным, а глупое чувство превосходства.

Здесь олени выглядели почти свободными. Большой парк напоминал санаторий, они бродили здесь компаниями, как отдыхающие. В храм олени не заходили, хотя ворота были открыты и двор храма был просторен. Возможно, они исповедовали другую религию. Какое место занимали в ней люди? Скорее всего, никакого. Люди кормили их и уходили в это раскрашенное здание. Мы были для них примерно тем же, что для нас пчелы. С той разницей, что пчелы, кормя нас медом, не считают себя царями природы и держатся без всякого высокомерия.

Длинный ряд лавочек раскинул на прилавках груды сувениров. Почти все они изображали оленей. Бронзовые статуэтки оленей, махровые полотенца с оленями,

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru олени головы из черного дерева, шелковые платки, открытки, пепельницы, стаканы для виски всюду олень. Примерно так же выглядят сувенирные магазинчики у собора святого Петра в Риме. Только там продают изображения святых, здесь же – священных животных. Такие же медальоны, резные барельефы, но вместо святых – олени с физиономиями благочестивыми, суровые старцы с могучими рогами, осеняющими их чело, и невинные младенцы типа Бэмби. Больше же всего надувных оленей. Почему-то все бесстыдно розовые, с черными рожками. Они висели связками, туго надутые, поскрипывая топкой резиновой своей оболочкой. Натуральные олени подходили к прилавкам, недовольно разглядывали свои изображения.

И в Беппу, в парке на горе, обезьяны, покачиваясь на ветках, взирали на лотки, где старые японки торговали игрушечными обезьянками.

Сквозь деревья парка светилось море, мелкое, зеленоватое, по морю ехали грузовики и шли тракторы, собирая морскую капусту. Обезьяны носились по аллеям, прыгали над головами, ссорились, клянчили у нас орехи. Как только орехи кончились, обезьяны перестали обращать на нас внимание. Они играли в свои игры, они чувствовали себя тут хозяевами, а мы – гостями. Никто их не трогал, они тоже считались священными. В сущности, все свободные животные имеют право быть священными. Когда-нибудь люди дойдут до этого.

На прилавках двигались заводные игрушки. Плюшевые обезьянки лупили в барабаны. Другие обезьяны кувыркались, подпрыгивали, мелькая своим воспаленно-красным задом, и, сделав сальто, становились на ноги. Делали стойку. Били в гонг. Чего только они не вытворяли. Внутри у них жужжали шестеренки и стонали пружины. Живые обезьяны сверху возмущенно плевались и швырялись в торговок ореховой скорлупой. А в Киото были рыбы.

Аквариум, большой, с множеством океанских диковинных рыб не отличался от подобных хороших аквариумов в других странах. Но главная прелесть заключалась в прудах вокруг аквариума. Поверхность воды в них почти сливалась с поверхностью асфальтовых дорожек.

Я опустил монету в кормушку-автомат и получил кулек с крупой. И сразу вода забурлила. Рыбы почувствовали, что у меня в руках, или увидели. Кто их знает, какая у них сигнализация. Из своего опыта они понимали, что сам я эту крупу есть не стану, они следовали за мной, толпились у моих ног.

Стоило бросить в воду горсть крупы, как поднялась кутерьма. Рыбы налезали друг на друга, лиловые, красные, угольно-черные, отороченные алыми плавниками, полосатые, как флаги, они прыгали, рассекая воздух широкими лезвиями тел. Летели брызги, разинутые пасти словно заливались хохотом, не так уж они были голодны, им просто нравилась эта свалка, толчея. Я опустил руку в воду, гладил скользкую узорчатую плоть.

Пруды соединялись, образуя большой водоем, рыбы были почти свободны – конечно, этому "почти" не хватало камышовых зарослей, и речных перекатов, и тенистых берегов, но все же тут было больше воли, чем в любом аквариуме. Пожалуй, можно было сравнить это с городом, рыбий бетонный город, разноязычная толпа... Они терлись шершавыми боками о мою руку, толкались в ладонь, маленькие рыбешки покусывали, пощипывали кожу. Я чувствовал себя добрее и лучше, я был их защитником, доверчивость этих тварей не позволяла совершить неосторожное движение. Я был морским богом, Нептуном, или нет, я был тоже земной тварью, ничуть не лучше этих рыб. Каким прекрасным мог быть мир, земля, со всей ее природой, если бы человек лелеял ее! Наступил космический век, а люди все еще недопонимают, какая великолепная планета нам досталась, как нам крупно повезло!

... Я обнял олененка за шею. Старый олень на всякий случай тронул меня рогами. Так мы шли втроем навстречу Сомову. Олени могли бы убежать, но они знали, что я ничего плохого не сделаю. Десятки, а может, сотни лет люди терпеливо растили здесь это доверие. Я наслаждался, ощущая шелковистую шерсть, слыша у груди сопение.

– Модель рая, – сказал Сомов.

Ну что ж, из всех благ рая самым привлекательным было блаженство общения с животными. Другие прелести райской жизни выглядели туманно. Если бы я рисовал райскую жизнь, я бы изобразил примерно такой парк: кругом бродят пятнистые

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
олени, на пруду возятся бобры, птицы садятся на плечи, тут же ходят жирафы и всякие бегемоты. Сомова я поместил туда на всякий случай связанным.

- То, что наши дети видят животных большей частью в клетках, - сказал он, - весьма безнравственно!

Мне это понравилось, и я развязал его.

- Может, мечтой о дружбе с животными, - продолжал он, - и жива до сих пор легенда о рае.

А вот леса на Южном Кюсю стояли пустые. Дорога крутилась по лесистым горам, но в лесах было тихо, и сами леса тянулись шеренгами посаженных криптомерий, деловые промышленные леса выращивались па доски без всяких подлесков, зарослей и прочих излишеств. Земля слишком дорога. На одно дерево полагается три с половиной квадратных метра. Ни зайцы, ни медведи в таких местах жить не могут. Леса не отличались от рисовых и чайных плантаций.

Как-то я спросил у Тэракура, видел ли он лошадь. Он задумался, потом просиял: - Да, да, в детстве, я даже потрогал ее. А я ни разу, ни в Токио, ни в Нагасаки, нигде, сколько мы ни ездили, даже из вагона поезда, на полях, на дорогах так и не увидел лошадь.

10

Н. СОМОВ

... Забыл, в каком городе это было. Повсюду нам попадались эти заведения, повсюду они выглядели одинаково ярко, шумно. Назывались они "пачинко". И так, мы шли по "неважно какому городу", ц Тэракура пригласил меня зайти в пачинко.

По-видимому, Тэракура почувствовал плохое мое настроение. Посреди самой удачной поездки беспричинно накатывает вдруг удрученность. Чем? Да ничем. Сколько ни копайся, не найти и повода. И это меня всегда злит - какая-то неуправляемость. Словно что-то есть во мне, кроме разума, хотя ничего нет и не должно быть. В такие минуты можно поверить в существование пресловутой души. На самом деле это чистая физиология, тонкая реакция организма на какие-то неизвестные недомогания.

Торговые улочки пахли рыбой, мускусом. Асфальт был влажен. У лавок стояли на ходулях огромные венки, закрытые целлофаном. Мне хотелось сесть на корточки, так, чтобы никто не обращал на меня внимания и сам бы я тоже не обращал бы на себя внимания.

Тэракура рассказывал что-то веселое, показывал на жаровню, где готовили осьминогов. Старенький японец бросил лакированную деревянную птичку, она полетела вдоль прилавков и вернулась к нему на руку.

Внутри у меня было пусто и тихо. Никаких желаний. Я был как вода в осеннем пруду.

Итак, мы зашли в пачинко.

В большом зале стояло несколько десятков автоматов для игры в пачинко. Они тянулись рядами, похожие на коммутаторы телефонной станции.

Мы купили кучу стальных шариков, как в детском бильярде, и стали к автоматам. Надо было пустить шарики в лоток, затем щелкнуть рычажком, шарик взлетал от удара и, носясь по лабиринту гвоздиков, постепенно спускался. По дороге он мог попасть в какую-нибудь из лунок. Каждая лунка имела цену. Автомат выкидывал выигрыш - столько-то добавочных шариков.

Металлический перестук несся со всех концов зала, сливаясь в дробный грохот, и, перекрывая его, гремела музыка бравурная, быстрая.

Я щелкал рычажком, шарик выпрыгивал и пускался в свой прихотливый, полный случайностей путь. Красные, зеленые створки - мимо, разрисованные лунки, самые скромные - мимо, самые счастливые - мимо. Панель была изукрашена пестрыми

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
завитками, звездами, блестящие золоченые гвоздики, счастье было рядом, крохотная щель удачи, на мгновение шарик замирал, но золоченый гвоздик отбрасывал его в сторону и опять вбок, все ниже и ниже. Надежда убывала. Последний желобок – прибежище проигравших. Закончились метания, шумные перескоки, прыжки. Медленно и обессиленно выходил шарик из игры. Таких большинство. Много лунок, столько раз могло повезти, и почему-то большинство уходило ни с чем.

Вскоре, однако, я установил, что судьба шарика зависит от силы начального толчка. Оптимальный вариант получался, когда шарик взлетал точно на вершину, над средним гвоздиком, даже еще точнее – к острию зеленого листка. Теоретически я определил наивыгоднейшую траекторию, теперь надо было научиться регулировать щелчок. Вот она, самая богатая лунка: целая куча призовых шариков с грохотом высыпалась в мой лоток. Запас пополнился.

Я посмотрел на Тэракура. Он играл за соседним автоматом. У него бежал не один шарик, а сразу несколько. Он не ждал конца пути, он запускал шарик за шариком, три или четыре их одновременно скакали по раскрашенной напели.

Я попробовал то же самое. Шарики понеслись, догоняя друг друга. Теперь проигрыш ощущался слабее, некогда было огорчаться, потому что вслед за неудачником бежали новые искатели, новые надежды. Я щелкал и щелкал рычажком. Музыка подгоняла, она играла все время чуть-чуть впереди, не давая передохнуть, остановиться. Счастье мое, грохочущее, дробное, то увеличивалось, то уменьшалось. Я уже ни о чем не думал, лишь бы иметь побольше шариков, чтобы снова гонять их, чтобы ими выиграть новые шарики.

По узкому коридору справа, слева от меня, спиной ко мне стояли мужчины, женщины и тоже щелкали, курили, жевали резинку, свободной рукой подливали себе пиво. Мой сосед слева, толстенький, мохнатый, похожий на шмеля, выигрывал. Он кивал и причмокивал от радости. А мои шарики постепенно убывали. Мелкие выигрыши не спасали меня. У него мчалось одновременно штук шесть шариков. В конце концов он тоже останется ни с чем, но позже меня. Пока он счастлив. У меня осталось семь, четыре, два... Все кончилось, как наваждение. Воздух сразу стал дымным, тяжелым, грохот – железно-пронзительным.

Игра, казалось бы, лишена смысла. Тэракура сказал, что выигранные шарики можно сдать, получить за них столько-то иен, но таких счастливыхчиков я почти не видел. Выигрывали для того, чтобы играть. Зачем? Не знаю, мне показалось, чтобы продлить ощущение возможности. Возможности чего? Тоже не знаю, возможности удачи или просто возможности играть. Игра в Игру. Я вдруг обнаружил в себе Игрока, что-то шевельнулось в душе, какие-то глухие страсти азарта. Я никогда не подозревал, что во мне сидит игрок. Наверное, родился я на полвека раньше, я бы просадил все, что имел, где-нибудь в рулетку, за карточным столом... Но вряд ли в пачинко.

Тишина Сада камней – и стальной грохот пачинко. Сосредоточенность ушедшего в себя человека, мысли о Вселенной, вечности – и нелепая погоня шариков; люди, сидящие на ступеньках этого древнего храма, – и люди, часами стоящие у раскрашенных автоматов.

Контрасты – это не только дворцы и трущобы, это еще пачинко и Сад камней. И там и тут была Япония. Крайние полюса ее души. Впрочем, это скорее годится для Глеба Фокина. А если вдуматься, то ничего таинственного не было в этих крайностях. Все это могло совмещаться и в одном человеке, Тэракура любил играть в пачинко и любил сидеть в Саду камней. И во мне самом было и то, и другое. Конечно, пачинко было не опасно, если существовал Сад камней. Но Сад камней был один, а пачинко тысячи и тысячи. Они зазывали музыкой, шумом, иллюзиями. Ни о чем не думать было легче и приятнее. Пачинко распространилось после войны. Игра эта как бы имитировала суматошную лихорадку времени, бессмыслицу жизни, погоню за случаем, за удачей, бездумной и нетрудной...

Это была мнимость. От нее не оставалось ничего – ни горечи, ни воспоминаний, буквально ничего. Ценность короткой человеческой жизни, ее считанные свободные часы превращались в ничто. Прославленная тонкость чувств этих людей, способных ехать за сотни километров, чтобы увидеть цветение вишен, могла сочетаться с пачинко, они уживались, легко избегая объяснений.

Г. ФОКИН

Дверь распахнулась от удара ногой. На улицу, покачиваясь, вышел японец, длиннорукий, маленький, грудь колесом, надутый, как краб. Две красотки в кимоно бережно поддерживали его. Блаженство, довольство собой и всем миром плавало в пьяно-туманных чертах его лица. Я позавидовал ему. Одна из девиц, мелко и быстро ступая, побежала навстречу такси. Машина остановилась. Девушки принялись усаживать своего кавалера. Они прощались долго и нежно, как будто расставались на веки вечные. Радость, печаль, любовь и тоска сменялись как пируэты в старинном танце.

Один за другим выходили подвыпившие мужчины, сопровождаемые нарядными заботливыми женщинами, и происходила та же трогательная церемония. Таксомоторы плотно заполнили тесную щель, где не было тротуаров, и машины ползли впритирку, чуть ли не извиваясь, а между подъездами и нишами, прижимаясь к стенам, скользили гибкие фигурки в кимоно, раздавался смех и слова прощания, последние объятия и поцелуи. Улочки, переулки, еще более тесные, еще ярче освещенные и совсем узенькие, где и пешеходам трудно разминуться, – повсюду я видел те же сцены.

Мужчины, не пьяные, а хмельные, находились в том прекрасном состоянии, когда от них несет не вином, а восторгом; женщины излучали любовь и преданность, в бесчисленных вариациях разыгрывали они короткие представления – прощание влюбленных. Участвовали трое, четверо, иногда целая компания – несколько мужчин, несколько женщин и очень редко – двое: он и она. Поэтому расставание шло в хорошем темпе, без пауз и трагизма. Такси трогалось, женщины махали вслед, посылали воздушные поцелуи, и таинственная дверь закрывалась за ними.

Маленькие эти пьески можно было видеть в промежутке с одиннадцати до полдвенадцатого, до двенадцати. Затем все прекращалось. Улочки по-прежнему пылали огнями. Толпа не убывала, но она сменялась резко. Начиналась ночная жизнь, грубая, откровенная. Бродили пьяные, какие-то безукоризненно одетые господа шепотом на всех языках предлагали свои услуги, предлагали адреса и наборы открыток, скромно прогуливались проститутки, околачивались иностранные моряки, компании местных хиппи, на дымных жаровнях шипел картофель, креветки, работали ночные клубы, кабаре, – все покупалось и продавалось, как положено злачным кварталам ночных столиц.

Каждый свободный вечер, проходя по Гиндзе, я любовался сценами ночного разъезда. Я видел финал, счастливый, чуть тронутый грустью конец, завершение чего-то такого же прекрасного, иначе откуда это выражение блаженства, довольства, покоя, не мгновенного, а накопленного. Что же происходило там, за этими дверями? Что было вначале и что в середине?.. Мне доставался последний кадр – поцелуй под занавес, happy end, но разве можно судить по нему о том, что было?

Однажды я решил выяснить раз и навсегда – что там. Я пришел пораньше, толкнул одну из заветных дверей и вошел. Пожилая женщина в кимоно низко поклонилась и спросила по-английски, чем она может служить. Я заверил ее в невинности моего любопытства. Она была предельно внимательна, как минимум ее интересовало, есть ли у нас общие знакомые. Она любезно порекомендовала мне ближайшие увеселительные заведения и выпроводила меня на улицу.

Мое прощание с ней было совсем не похоже на то, что я видел. Тайна стала жгучей, она распухала, казалось в ней-то и хранится секрет счастья. Жизненный опыт утешал меня как мог: при ближайшем рассмотрении там окажется нечто пошлое, банальное развлечение, кабаре с приправами, нечто вроде "Ночного Нью-Йорка", что обосновался под мостом. Простейшее заведение, где у входа продает билеты кассирша с обнаженными грудями, а дальше в синем полумраке хозяйничают полуголые девочки, и на стене лампочки изображают контуры небоскребов. Здесь подешевле, там подороже, вот и вся разница.

Но я надеялся, что это не так. Я чувствовал это по сценам прощания – церемонным, веселым, как после праздничного бала.

А также я знал, что существуют гейши.

Гейш я не видел. И Сомов их не видел. Тэракура видел их когда-то, но по своей

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
молодости и бедности не удостоился... Однажды в универмаге он показал мне гейшу. Она покупала перец. Белое, загримированное белилами лицо ее было как маска мима, все в нем было нарисовано и неподвижно, но ничего клоунского, ничего смешного. Это была маска красоты и женственности. Я застыл, неприлично жадно разглядывая ее замысловатую прическу, синих птиц на рукавах кимоно, ее наряд, продуманный сотнями лет. Веки ее дрогнули, на мгновение из-за укрепления, из этих сложных декораций взглянула на меня девчонка, самая обычная, веселая, кокетливая девчонка... Вот и все, что я увидел.

Я знал, что меня прежде всего спросят о гейшах. Славка, тот мне проходу не даст, если я скажу, что не общался с гейшами. Рикши, гейши, кимоно и самураи – вот его набор. И еще икебана. Но икебану он переживет, кимоно он видел, самураи исчезли, тут я ни при чем, нет самураев, кончились, а вот рикши и гейши – это предметы, так сказать, первой необходимости для моего отчета.

Я уже подготовил конспект – гейш в Японии осталось немного, рикш тоже, рикши существуют главным образом для гейш, которые на них ездят, а рикши ездят на автомобилях, они неплохо зарабатывают и имеют свои машины. Гейши тоже хорошо зарабатывают, гейши, они совсем не то, что некоторые о них думают. Гейши, они совсем не для того, а для того, чтобы вести вечер, поддерживать беседу, приятную обстановку.

"Вот ты, альпинист и библиофил, – скажу я, – ты бы не смог быть гейшей в силу своей примитивности, мелкого остроумия и сексуальной озабоченности". Как-то придется выходить из положения.

Откровенно говоря, сам факт пребывания в Японии давал возможность придумывать любые ситуации. Наличие некоторой фантазии, плюс знакомство с литературой, плюс та гейша из универмага – и я мог бы выдать милую историю о вечере, проведенном с гейшей. Случайное знакомство, вечер в чайном домике (чайную церемонию я видел, так что описать ее можно во всех деталях), песни, танцы (это из кинофильма), разговор по душам (придется поднатужиться за двоих) и концовка неожиданная – например, за окном студенческая демонстрация, религиозное шествие, нападение полиции, летят камни, слезоточивый газ, я спасаю... Пожалуй, лучше не спасать и вообще не зарываться, а оборвать рассказ и замолчать, тихонько вздохнув.

Уличить меня невозможно, да и зачем, важно, чтобы история была интересной.

... Прием в честь Сомова открыл председатель ассоциации физиков, подсушенный, костлявый, из тех стариков, кому всегда даешь на вид меньше шестидесяти, хотя знаешь, что им давно за семьдесят.

Вообще мужчины в Японии большей частью выглядят моложе своих лет. Лаково-черная шевелюра председателя могла служить рекламой разных эликсиров и мазей, которых он никогда не применял.

Физики стояли вдоль накрытых столов. Прием происходил по-европейски, "встоячка", в небольшом зале клуба. Председатель произнес двухминутную речь в честь известного советского физика мистера Сомова, затем началась циркуляция, перемещение, брожение с тарелочками в руках, и в какой-то точно рассчитанный момент председатель постучал ножиком по бокалу и дал слово Сомову. Искусство короткого ответа, пожалуй, наиболее сложное. Конечно, Сомов мог себе позволить не стесняться. Его бы слушали. Но вежливость обязывала его говорить меньше, чем председатель. Он произнес всего несколько фраз. В них была благодарность ассоциации, и всем присутствующим, и господину председателю, и надежда на дальнейшую взаимосвязь советской и японской науки во имя мира, и даже его впечатления о лабораториях. Все это выразилось с помощью шуточной формулы о сильных и слабых взаимодействиях, взятой из теоретической физики, очевидно известной всем, кроме меня, потому что раздался смех и аплодисменты, и несколько человек даже записали эту формулу.

Я заправлялся бутербродами, креветками, вином и наблюдал. Прием несколько отличался от обычных приемов, заполненных пустой болтовней, ненужными знакомствами, обменом визитными карточками, рассеянными-запоминающими взглядами по сторонам: кто с кем общается, а кто с кем не общается, кто в стороне, кто в центре... Конечно, некоторые при этом делали свои дела, старались показать, что вот они здесь, допущены, приглашены; большинство же на таких приемах скучало.

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Физики общались иначе. Было видно, что все они связаны единой работой, попятной им, интересной, они знали Сомова, Сомов знал их, или слышал, или читал, собеседники вокруг Сомова быстро сменялись, и с каждым у него с ходу начинался разговор о самом существенном. Они общались свободно, примерно так же, как общались между собою наши физики. Это могло быть в Киеве или в Дубне. Внезапно Сомов, тоже по какому-то неизвестному мне сигналу, стал откланиваться.

- Очень жаль, - сказал председатель.

- Уходить надо раньше, чем тебя попросили остаться, сказал Сомов, и вместе с господином О. мы втроем отправились ужинать в рыбный ресторанчик. Господин О., давний знакомый Сомова, ученик крупнейшего японского физика Хидэки Юкава, как только мы очутились на улице, снял галстук, взъерошил волосы, расстегнул пиджак, высвободив маленький крепкий животик гурмана. В рыбном ресторанчике нас ждали господин Т., и хозяин, пожилой японец в белом колпаке, и два его сына в белых куртках. Мы сели к стойке, за ней блестели плиты, краны, горелки, терки, разделочные столики, сковородки, кастрюли - настоящая лаборатория, где, сверкая ножами, орудовали хозяин с сыновьями. Пиршество началось с крохотных синих рыбок, запеченных в сладком соусе, за ними последовали круглые рачки, за ними плоские розовые рыбы, украшенные зеленью. К каждому блюду полагался набор соусов, приправ. Захватив палочками рыбу, надо было макать ее в коричневый соус, потом в красный, а иногда наоборот, потом прославить ее рисом. Попробовав очередную рыбку, мы должны были сообщить наше мнение.

Вкусовой набор этих рыбешек, и рыбиц, и улиток, и прочей водяной живности с их тончайшими оттенками запахов, сладости, сочности, пряности следовал в определенном порядке.

- Морская симфония! - восклицал Сомов. - Гастрономическая мелодия!

И в самом деле, это больше всего походило па музыку. Старик повар был дирижером, его помощники - оркестрантами. Сверкали ножи, шипело масло, шлепались рыбы тела, лилась вода, и все это сопровождалось ритмичными движениями, согласованными, как в оркестре. Я никогда не представлял, что можно так красиво потрошить рыбу, валять ее в сухарях, вертеть над огнем. Видимо, и впрямь, когда работает мастер, - это красиво.

Где-то на пятнадцатом блюде я изнемог, отвалился. Весь сыт, а глаза голодны, как говорят: "Есть не может-ся, а отстать не хочется". А тут и обидеть не хотелось. Чувствовалось, что хозяева старались уже не корысти ради, они, как артисты, вошли в раж, они делали все, что могли, чтобы оживить, подстегнуть наш аппетит. Наконец был устроен перерыв с зеленым чаем и фирменным киселем.

- Вот это чудо, я признаю, - сказал Сомов, утирая пот.

- Какое ж тут чудо, обычный хороший ресторанчик, - сказал господин Т. - До войны таких было еще больше. Ах, если бы вы приехали к нам двадцать с лишним лет назад, когда Токио был в развалинах, вы бы согласились, что произошло чудо. Они продолжали спор, начатый на приеме, а может, еще раньше. Речь шла о пресловутом японском чуде. Насколько я мог понять, господин Т. убеждал Сомова, что нынешнее процветание Японии можно объяснить лишь психологической пружинкой, которая распрямилась в японской нации. Духовная энергия народа породила невиданный скачок экономики. За короткий период страна вышла на второе место в мире среди капиталистических стран. Любые объективные причины не выясняют до конца то, что произошло, ведь и другие страны имели те же возможности.

- Но мы же с вами знаем, что чудес не бывает, - благодушно сказал Сомов.

- А вспомните, что вы мне говорили в первые дни приезда. Как вас поразил Токио, а по дороге на завод Ниссап - наш индустриальный пейзаж... Ведь это все заново.

- Господин Т. скинул пиджак, потер руки. - Вспомните ваши первые пятилетки. Тоже это было чудо. Энтузиазм народа, всеобщий подъем. Почему же Япония не может...

- У нас был социальный подъем, революционный, - сохраняя спокойную улыбку, ответил Сомов. - Не станете же вы утверждать, что у вас социальное единство? Думаю, что тут существенная разница, и мы никогда не ссылались на национальный дух. Это не материалистическая категория.

Пока что он сохранял преимущество – господин Т. как бы защищался, он вынужден был предлагать варианты, а Сомов их отвергал, разбивал. Но господин Т. знал факты, разумеется, лучше Сомова и поспешил это использовать. Он приводил цифры выпуска машин, запасов риса, роста продукции электроники, радио, судостроения. (Я вспомнил целый квартал магазинов, где продавались транзисторы, магнитофоны, проигрыватели, диктофоны, телевизоры, от огромных аппаратов до крохотных сверхминиатюрных, сотни моделей. Магазины тянулись сплошными шеренгами, узкий лабиринт, по которому можно было ходить часами, не было им конца и края. И рядом большой универсам светильников. Несколько этажей настольных ламп, абажуров, торшеров.)

– Чем вы это объясните? И надо учесть, что мы лишены сырья, топлива. Мы работаем на привозных минералах, нефти, железе.

– Вот именно, – согласился Сомов. – Как же вы можете конкурировать с другими странами? Тут никакой дух не поможет. Дух духом, а чтобы продать автомобиль, стоимость его должна быть ниже, чем, допустим, фольксвагена.

– Вы сейчас сошлетесь на низкий жизненный уровень наших рабочих, – подхватил господин Т. – Да, да, согласен, они получают гораздо меньше американского. Ну и что из этого следует?

Мне нравилось, что он не соблюдал обычных церемоний, он повышал голос, стучал по столу, несколько даже щеголяя своими американскими манерами.

Зато господин О., молодой, толстый, полузакрыв глаза, сонно покачивал головой, и хотя под нами были высокие стулья, он как будто сидел, скрестив ноги, на циновке. Он не принимал участия в споре, он кивал на слова Сомова и на страстную речь господина Т., который довольно ловко использовал низкий доход рабочих, чтобы укрепить свою теорию возрожденного духа нации. Да, эксплуатация, соглашался он, но народ пока терпит эксплуатацию, воодушевленный патриотизмом, гордостью, возможностью создать могучую страну.

Сомов некоторое время молчал.

– А что думает по этому поводу наш молодой друг? – спросил он. Господин О. качнулся:

– Многие из старшего поколения в восторге от нашего процветания...

Собственно, все, что говорилось в тот вечер, я передаю весьма приблизительно, но слова О. поразили меня и, может, запомнились лучше.

Он сказал, что его сверстники считают процветание естественным, они родились после войны, и процветание для них не чудо, так же как не чудо и современная демократия. Хотя по сравнению с императорской Японией она тоже удивительна.

– Для нас, – сказал он, – и демократия, и экономика и духовная жизнь полны недостатков. Не восхищаться надо, а изменять. Что из того, что мы производим пять миллионов машин? Разговоры про чудо – опасные разговоры.

Он открыл глаза, тоненький голос его исполнен почтительной нежности:

– Не кажется ли вам, что, ссылаясь на японский дух, духовную энергию, тайную пружину и тому подобное, мы приходим к понятиям особым, свойствам, так сказать, исключительным? Вы старше меня, не вызывает ли это у вас некоторых воспоминаний? И тут сладчайшая его улыбка стала острой: – Например, арийского духа? Исключительности немецкой нации, ее великой роли, миссии?

– Это не доказательство, это предупреждение, – взорвался господин Т.

– Конечно, конечно, дорогой Т.-сан, – весело согласился О. – Но вот давайте возьмем известную нам область полупроводников. Благодаря чему мы добились таких успехов? Посмотрим, что тут дух или нечто иное. Сомов-сан, пользовались ли ваши ученые нашими работами, допустим, по термоохлаждению?

– Сейчас не припомню, – осторожно сказал Сомов.

- И позже, боюсь, не припомните. Потому что мы предпочитали чужое, готовенькое. Ваши разработки и американские. Мы скупаем лицензии, быстренько осваиваем, благо рабочие руки дешевы. Наши транзисторы - результат не чуда, а торгашеской ловкости. Что стало с нашей наукой? Мы ведь хищники. Мы не развивали науку, мы пользовались чужими идеями. То есть паразитировали. А наши университеты - кого они готовят? Дельцов. Лакеев. Не мыслить, а воплощать. Вместо духовной жизни мы поощряем барыш. О, японский дух - это так удобно для спекуляции. Мы, японцы, тоньше других чувствуем красоту, мы, японцы, самые храбрые, мы умеем делать все, что другие, только лучше и быстрее, мы выращиваем самые маленькие, прелестные садики, у нас самый скорый в мире поезд. Не так ли? И куда мы едем на этом поезде? Что мы дали человечеству? Мы живем за счет своих древних поэтов и художников, нас накачивают национальным высокомерием...

Никто не поносил так японский капитализм, как этот молодой профессор Токийского университета, сонный, тучный чревоугодник.

Жаль, что господин Т. распростился с нами, не доходя до Симбаси. По широкой слабо освещенной улице двигалась колонна демонстрантов. Взавшись за руки, что-то выкрикивая, молодые люди, мелко переступая, бежали, вернее, изображали бег. Головы их были прикрыты касками, нижняя часть лица завязана полотенцем, они размахивали голубыми флагами и транспарантами. По бокам колонны, окантовывая ее цепью, шли полицейские, тоже в касках, в белых, с дубинками в руках и с большими серебристыми щитами. А позади двигалась колонна зарешеченных машин.

- Пожалуйста, полюбуйте на единство духа нашего народа, - сладко сообщил господин О. - Видите, как заботливо полиция охраняет студентов.

- А что за машины сзади? - спросил я.

- Арестантские. Туда их будут сажать. Затем машины со слезоточивым газом. Соблаговолите обратить внимание на техническое оснащение нашей высокочтимой полиции. Дойдя до площади, демонстранты уселись на мостовую. Оратор начал речь. Полицейские заняли все входы и выходы. При свете неона театрально поблескивали их высокие металлические щиты, длинные дубинки выглядели как копья, и эти шлемы на головах - ни дать ни взять древние воины.

- Вот они, долгожданные твои самураи, - сказал мне Сомов.

Впечатление путали маленькие радиопередатчики. Выставив штыри антенн, офицеры что-то докладывали, нетерпеливо переминаясь, ожидая приказов. А площадь скандировала. Парни и девушки сидели, раскачиваясь и выкрикивая какие-то лозунги.

- Чего они требуют? - спросил я.

- Наверняка демократизации университетских порядков. А в остальном я сам не могу их понять. - Господин О. развел руками. - Они и сами не знают. Они смутно чувствуют, что нужны изменения, как всегда у них нет ясной программы... Но это не страшно... - Он прицокнул языком, не договаривая.

Мне все больше нравился этот парень. Сама его внешность этакого щекастого бодисатвы, воплощение традиционного японского духа, словно была насмешкой. Всем своим видом, подчеркнутой старомодной учтивостью он как бы издевался над своим японством.

Итак, мы стояли посредине Токио, в гуще политических страстей, животы наши были набиты рыбой, а головы неразрешимыми проблемами японской действительности. Слава Сомова осеняла нас. Столичный вечер был в разгаре, и нам не хотелось возвращаться в отель.

- А-а! Стоять без дела и делать дело может только почтовый ящик, - сказал О. - Пойдемте!

За этой фразой могло последовать что угодно. О. мог выйти на площадь и произнести речь, мы могли отправиться в бар выпить виски, пойти в театр, где играла жена О., затеять дискуссию со студентами... Но того, что произошло, никак нельзя было угадать.

На площадке лестницы, застланной красным ковром, нас встретила пожилая японка в кимоно. Она несколько раз поклонилась, и мы тоже поклонились, прижав руки к бокам. Она сделала вид, что не узнала меня. А может, и впрямь не узнала. Может быть, все европейцы были для нее на одно лицо, так же как и для меня в первые дни приезда – все японцы. Кроме парадных улыбок, она отдельно улыбнулась О., и он ласково похлопал ее по плечу.

Довольно большой зал был разгорожен ширмочками, каждый столик существовал отдельно и вместе со всеми. Мама-сан провела нас мимо оркестра к свободному столику. Перед нами сразу появился миндаль, бутылка вина, вода. Мама-сан что-то говорила О., он отвергающе мотал головой, а потом улыбнулся и кивнул. Сомов полагал, что мы пришли в обычный ресторан, он ни о чем не подозревал. Через несколько минут к нам подошла девушка. Она обрадовалась, увидев господина О.

– Познакомьтесь, – сказал он. – Это Юкия.

Миленькая, курносая, ростом чуть выше обычного, в кимоно, расшитом голубовато-зелеными цветами, она привлекала, пожалуй, лишь живостью подвижного, быстроглазого лица.

"Ну-ну, посмотрим, что у тебя получится", – подумал я, вспоминая церемонию прощания, счастливые лица японцев. Я был полон недоверия. Мне мешало то, что я знал результат, заключительную сцену.

Когда пришло время уходить, оказалось, что мы просидели часа два, а то и больше, но тогда они промелькнули мгновенно; это позже, размышляя, что же было, я припоминал множество всякой всячины, и было странно, когда это мы все успели. Наверное, можно написать большую повесть, даже роман про эти два часа. В нем почти не будет диалогов – Потому что я не говорил по-японски, а Юкия довольно плохо говорила по-английски. Сомов еще кое-как понимал ее. О.-сан кое-что переводил, но, в сущности, мы в этом и не очень нуждались. Особенно я. Казалось, я понимаю каждое ее слово, такая у нее была выразительная мимика. Кроме того, мы танцевали, пели песни. Юкия учила нас японским песням, мы ее русским. Затем она показывала нам фокусы. Затем мы играли в смешную игру с монетой, которая лежала на бумаге, натянутой на фужере. Мы сигаретами прожигали дырки в бумаге так, чтобы монета не упала... Я говорю "мы", но правильнее было бы говорить "я". Потому что Юкия обращалась прежде всего ко мне. Я был героем вечера. Принесли кофе, еще бутылку вина, но я почти не пил. О.-сан, сложив руки на животе, кейфовал, дремотно полускрыв глазки. Как гостеприимный хозяин, он отказывался от всяких прав на внимание Юкии. Изредка он вставлял слово, отхлебывал вино и вновь погружался в нирвану, наслаждаясь нашим весельем.

Когда мы спустились вниз, на улицу, я чувствовал на своем лице то самое хмельное блаженство, какое я наблюдал у других. Юкия тоже подозвала нам такси, и я, так же как и все на этой улочке и на соседних улочках, стал прощаться, полный благодарности, грусти и любви.

Что же произошло? Как это все получилось? Были моменты, когда я холодно пытался проследить, каким образом Юкия добивалась этого. Кое-что я понял, но немного, потому что отстраниться, стать наблюдателем не было случая, она не давала, да и не хотелось. И это не было ни гипнозом, ни наваждением, все совершалось честно, открыто.

Ночью, лежа в номере, я пытался разобраться в своих ощущениях... Разделить действия и впечатления. Занятие, опасное, в духе Сомова, пытался анализировать точно я беспристрастно, не боясь разрушить туманно-счастливой тайны праздничности. В чем состоял секрет этого вечера? Что, в сущности, происходило? Я вспомнил, как заблестели глаза Юкии, когда она пожимала мою руку и оглядывала меня, не скрывая радостного удивления. Наконец-то! Господи милостивый, неужели это тот человек, которого она ждала так долго, годы, может, всю жизнь? Вот какое чувство исходило от нее. Он появился! И он это был я. Появился невесть откуда, из какой-то неведомой страны, из космической мглы. Может быть, она видела меня в своих снах, именно о таком она мечтала. Нет, все это было тоньше, поначалу она еще сомневалась, присматривалась, но каждый мой жест, каждое слово подтверждали... Она узнавала меня. Я был Тот Самый! Постаревший, усталый – неважно, пустяки. Я нашелся! Я здесь! Через несколько минут я уже чувствовал себя сказочным принцем. Все, что бы я ни говорил, что бы ни делал, вызывало ее

восхищение.

Я был прекрасен. Я был остроумен. Моя неуклюжесть была прелестна. Мое смущение доказывало богатство моей души. Как хорошо, что я пел хриплым голосом, это напоминало Армстронга. Она ликовала, если ей удавалось угадать мое желание – погулять по залу, посмотреть, что делается за соседними столиками, познакомиться со своими подругами. Полюбуйтесь, кто со мной! Вам, бедняжкам, и не мечталось. И они восхищались и украдкой от своих мужчин выказывали зависть. Я тоже сравнивал всех этих хостесс – миниатюрную Осано, и пухленькую Миура, и хрупкую Оэй, – но моя Юкия была лучше всех. Конечно, прежде всего потому, что она любила меня и только в ней я видел себя таким сильным, умным, таким мужчиной. Получив надежду и как бы уверясь в себе, Юкия расцветала на глазах. Короткие черные волосы придавали ей вид девчонки. Ей было все нипочем – бескостно выгибая руки, она танцевала старые японские танцы и тут же переходила на мальчишескую джигу. Самозабвенная ее лихость закружила нас. Я скинул пиджак и вместе с ним обычную стеснительность, ни разу в Японии я не чувствовал себя так свободно, и даже Сомов разошелся, откуда-то появился в нем мужичок-потешник, присвистывающий, кукарекающий, прошелся в деревенском "лансе".

Жизнь давно вытравила во мне легкоеверие. Достаточно нахлебался я разочарований и обманов, в этих играх я и сам мог провести кого угодно. Если бы Юкия хоть где-то сфальшивила, чуть переиграла, для меня все бы рухнуло, обернулось бы пошлостью. В лучшем случае – искусная проституточка в экзотическом оформлении. Но ведь и мысли такой не возникало. Танцуя, она вдруг прижалась ко мне всем телом, я поцеловал ее, мы обнимались – все это было, и в то же время было это попутно, как бы в дополнение к другому, куда более важному и дорогому интересу. С ней хотелось поделиться, спросить, почему та женщина, в Ленинграде, ушла, ничего не объяснив, должна же быть какая-то причина, все шло так хорошо, пока не началось всерьез, неужели это испугало ее? Русские слова мешались с английскими. Юкия напряженно вслушивалась, она все понимала. А моя журналистика – разве это специальность? Что она по сравнению с точно оцененной работой Сомова? Если надо будет, он сумеет описать ту же Японию не хуже меня, а вот я сделать то, что он делает, никогда не смогу, как бы ни старался. Казалось, никого в целом мире не волнуют мои беды так, как Юкию, глаза ее влажно блестели, она утешала, тихонько глядя мою руку. Не знаю, может, я произнес всего несколько фраз, не в этом дело, важно, что нашлась душа, готовая принять в себя путаницу несправедливых и справедливых моих чувств.

Я не жалел и не пожалею тех минут своей открытости. За соседними столиками я видел таких же мужчин. Замотанный клерк жаловался другой Юкии на своего управляющего, который его затирает, на тяжкую, унижительную работу, годную разве что для начинающего юнца на взяточника-полицейского, на шарлатана-врача, на налогового инспектора, на ведьму-тещу... "Управляющий? – восклицала та, другая Юкия. – Да он дрянь, тупица, ищет сладкое, а пирожок лежит на полке. Подумать только, – возмущалась она, – не замечать, не ценить такой талант, такого работника!" Ах, до чего же она была расстроена, не существовало для нее сейчас ничего, кроме его дел. Он лотос среди грязи, журавль среди кур, а тот полицейский или врач – недобитая змея.

Клерк оживал, распрямлялся, она вбирала в себя его обиды, неудачи, наделяя его верой в богатства его души, неведомые до сих пор никому...

Он становился могучим, никого не боялся, он был свободен, и горд, и всесилен, как Будда. А что, и Будда ведь сначала был обыкновенным человеком.

Любопытно, однако ж, что за каждым столиком восседала компания, по меньшей мере двое-трое мужчин и женщина. Парочек не было видно. Повсюду цвела любовь, клерки любили, и клерков любили прекрасной и чистой любовью, без низменных страстей, похоть отступала перед сладостью духовной близости.

Ах, как это было возвышенно, хотя наверняка тут хватало и другого, но что я могу поделаться, если мне виделись лишь райские кущи, порхающие ангелы; разбавленное вино казалось нектаром, а плохонький джаз звучал эоловой арфой (которую я никогда не слышал).

Однажды, в разгар нашей любви с Юкией, я вдруг, по русской жажде копать в душе и выяснять смысл жизни, стал расспрашивать о ее планах, мечтах и, так сказать, общей перспективе. Мало мне было ее любви, мне обязательно надо было выяснить

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
прошлое, будущее, а также духовные запросы.

На какой-то миг она растерялась, украдкой посмотрела на О. Позже, вспоминая об этом вечере, я понял свою бестактность, я грубо нарушил правила игры, как дикарь залез на сцену ощупывать декорации. О. едва заметно кивнул, и Юкия растроганно повелитель соизволил заинтересоваться ее ничтожной особой! рассказала о себе. Ей уже двадцать три года. Несколько лет она обучалась этой своей специальности и вот уже лет шесть работает здесь. Весной она собирается выйти замуж. Жених? Его еще нет. Есть деньги. Это главное. Она скопила ту сумму, с которой так, очевидно, принято – можно выходить замуж. Если подходящего парня она не найдет, то поработает еще сезон. А если и будущей весной с замужеством не получится, то она откроет собственное заведение. Пора, пора, работать становится все тяжелее. Непривычный этот разговор сбил ее, редко кто интересовался утренней и дневной Юкией, одинокой женщиной, озабоченной ежедневными расчетами, ценами, занятой с утра подготовкой к вечерней своей работе. Надо разучивать новые песенки, сделать массаж, гимнастику, целый комплекс, чтобы быть в форме, сохранить свежесть, вид идеальной нашей возлюбленной. Кого на нынешний вечер пошлет судьба – загулявших шелководов из Нагано, французских моряков, бизнесменов, студентов, больных печенью маклеров, жаждущих утешений и лирики, или одиноких неудачников, которые ищут простого сочувствия? Каждый раз ей надо находить единственно правильную роль.

Юкия повертела бокал, всматриваясь в блеклую желтизну вина. Лицо ее поднялось над улыбкой, которая сковывала ее губы, злое и грустное лицо, вышедшее из повиновения.

Мне захотелось посочувствовать ей, приободрить. Слова, что приходили па ум, были не те – или фальшивые, или обидные. И жесты не те. Мы как бы поменялись ролями, и я почувствовал, до чего трудна ее профессия, как нелегко проникнуться заботами чужой души. Юкия взяла мою руку, потерлась носом о ладонь и сказала все слова, которые я искал, с какой-то незаметной ловкостью она все сместила, повернула, и получилось, что это я чуткий, добрый, заботливый, и опять я был вознесен и грелся в ее признательности.

По ковровой дорожке мы неохотно спускались вниз, на улицу. Мы шли вслед за другими компаниями таких же разнеженных от счастья мужчин и влюбленных в них женщин. Маленькая рука Юкии лежала в моей руке, другая ее маленькая рука обнимала Сомова, третья рука поддерживала О.-сана, остальные ее свободные руки обмахивались веером, вдевали гвоздики в петлицы наших пиджаков, она была двадцатируким Буддой, а я воздушным шаром, аэростатом, раздутым от любви к людям, от любви к самому себе, лучшему из всех, кого я знал. Я держался за Сомова, чтобы меня не унесло.

Юкия подозвала такси, мы стали прощаться. Воздушный шар не запихивался в машину. Я все пытался узнать у Юкии номер телефона, мы должны были увидеться завтра же, я не представлял, как она переживет нашу разлуку, хотя бы на несколько часов. Юкия показала на господина О. – он все знает, поцеловала меня, поцеловала Сомова, и машина тронулась.

Мы смотрели назад. Юкия стояла у подъезда и кланялась, кланялась нам вслед. Поток машин заслонил ее, на повороте вновь открылась ее фигурка – руки повисли, голова опущена. Лица ее было не различить, но у других подъездов стояли другие женщины, и было видно, как гаснут их лица, становятся некрасивыми и сонными.

– Господи, как же это? – сказал Сомов. – Только что она так любила меня. Навечно любила. Куда все это делось?

Я выкатил на него глаза.

– Тебя?

– А кого же. Конечно, меня. И я думал, что она не в силах расстаться...

– При чем тут ты?

Ничего не понимая, мы уставились друг на друга, к великому восторгу господина О.

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Сперва нас охватило возмущение: нас обманули, так обманули... Затем обида. Затем разочарование.

Затем мы вынуждены были рассмеяться. Сомов спросил О.:

- Что было бы, если бы кто-либо из пас попросил Юкию о встрече? На это О.-сан дипломатично ответил, что, конечно, нам бы она, может, и не отказала, но вообще такое не принято, разве недостаточно того, что было? И в самом деле, подумал я, чем-то она похожа на мою Японию, которая была и которой не было, и которая одарила меня красотой и любовью, и тем не менее...

- Какое искусство! - неуверенно сказал Сомов. - Какая актриса!

- Спектакль, - сказал я. - Обман трудящихся. Иллюзии чужого мира. Но в глубине души я продолжал думать, что все же что-то было, что хотя бы до четверти двенадцатого она любила, и любила всем сердцем, и только одного меня. н.сомов

Ровно в четыре утра меня разбудил телефон и сообщил, что я просил разбудить меня в четыре утра.

Это было чудовищно. Я не хотел иметь никакого отношения к себе вчерашнему. Я был чист и невинен. Пусть он, вчерашний, встает и едет на этот рыбный базар. А мне этот базар ни к чему. Как я мог дать такое обещание Конеко-сану. Бедный Конеко-сан, ему ведь тоже этот рыбный рынок не нужен. И Глебу не нужен. И все мы, проклиная себя, встанем и потащимся. Конеко-сан - ради того, чтобы доставить нам удовольствие. Глеб - потому что нельзя не посмотреть. А я? Что-то ведь я думал вчера вечером. Но в том-то и дело, что вечером человек думает одно, а утром другое. Вечерний человек щедр, беспечен, ему нечего терять, день окончен, а завтра далеко. Всегда кажется, что завтра можно совершить чудеса. Завтра огромно и бесстрашно. Завтра и я мог бы встать в четыре утра. Но сегодня...

Утро вечера мудренее: вот к какому свежему выводу я пришел. И это утро было одно из самых мудрых, поскольку оно было одно из самых утренних за последние годы. Безлюдный, еще неприбранный Токио был мрачен. Холодный ветер гнал обрывки бумаги, кружил мусор на полутемных улицах. Город был словно покинутый, словно после отступления. Огни реклам погасли, не осталось ни покупателей, ни продавцов, дома стали просто домами, они появлялись из опадающей тьмы, лишённые подробностей и украшений, нагие, некрасивые. За окном такси бежали длинные глухие заборы, брандмауэры. Глеб посапывал, приткнувшись к моему плечу. Конеко-сан сидел впереди, и затылок его ласково улыбался мне. Довольно трудно улыбаться затылком, но Конеко-сан умел и это. Не знаю, чем мы заслужили его любовь, когда-то он перевел одну мою книгу, и это все, что нас связывало. Однако Конеко-сан пользовался малейшей возможностью услужить нам. Он делал это незаметно, стараясь избежать наших благодарностей, так, чтобы мы не чувствовали себя обязанными. Может быть, он любил слушать нашу речь, а может, он просто любил нашу страну, не знаю. Студенты жаловались, что он плохо читал лекции, и тем не менее ходили его слушать. Что-то в нем привлекало, наверно все же это была доброта. Настоящая доброта повсюду дефицитна.

- Приехали, - сказал Конеко-сан.

Я растолкал Глеба, и мы вышли на знобкую, ветреную, нежданно людную площадь, забитую машинами, мотоциклами. Множество людей куда-то бежали, суетились, бесцеремонно толкались. Рынок был крытый. Под высокой крышей горели сильные лампы, прожекторы, и внизу были лампы; посверкивая фарами, сновали электрокары, тархтели вагонетки, людей тут было еще больше, и сновали они еще быстрее. Сперва это напоминало пролет большущего цеха, а потом стало походило на город, такой это был огромный рынок. Здесь были свои улицы и проспекты, свои трущобы и свои центры.

Людской поток захватил нас, мы тоже долго куда-то бежали, пока не очутились на каменной набережной. Дальше было море, а может, залив, из темноты доносился плеск волн и дул свежий сырой ветер. Тусклые фонарики покачивались на мачтах невидимых сейнеров и баркасов. Вся набережная была выстелена рыбьими тушами. На каменных плитах лежали ровные ряды громадных тунцов. Темно-лиловые матовые тела их, одного размера, одного калибра, казались отлитыми из одной формы. Они лежали как торпеды. На каждом красной краской был написан номер. Хвосты отрублены и засунуты в пасти. Какие-то люди в брезентовых робах наклонялись, высвечивая

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
фонариком нежно-розовый разруб, тыкали пальцем в мясо, нюхали, записывали в книжечки номера и бежали дальше.

Лиловый строй тунцов растянулся на десятки метров, за ними начались такие же шеренги платиново-зеленого отлива круглых рыб, названия которых Конеко-сан перевести не мог. За ними следовали камбалы, палтусы, перламутровые треугольные рыбы с выпученными глазами. И все шеренги идеально выровнены, одна к одной, и рыбы одинаковые, не рыбы, а изделия, серийные выпуски, изготовленные по стандарту – полтора метра, один и три, ноль девять... Промышленный вид этой продукции никак не был связан с морем, с рыбаками, с ловлей рыбы. Это была индустрия. Стояли ящики, уложенные доверху слоями всякой живности, также тщательно рассортированной по размерам.

Конеко-сан виновато поторопил нас: начинались аукционы главное действо этого предприятия. Вместе с толпой перекупщиков мы устремились к маленькой трибуне. На нее взобрался аукционер, и без всяких предисловий начался торг. Аукционер показывал или выкрикивал номер, перекупщики выкрикивали цену. У каждого из них был тоже свой номер. Все были пронумерованы – люди, рыбы, аукционеры. Шел этот торг с невероятной быстротой. Перекупщики, однако, успевали листать записные книжки, находить партии, которые они перед этим высмотрели и оценили свежесть товара, успевали произвести свои, отнюдь не простые, вычисления, исходя из конъюнктуры, конкурентоспособности и прочих способностей. Причем все это происходило на каком-то условном языке, непонятном даже господину Конеко, с криком, толкотней. Нравы тут царили самые бесцеремонные, брали горлом, нахрапом, хитростью. Кто кого. Кто быстрее, ловчее, нахальней. Кончался один аукцион, рядом начинался другой, и все мчались туда, к следующей трибуне. Аукционер стучал, взметались руки, почти одновременно, но аукционер определял это "почти", скупщики то обгоняли друг друга, то медлили, какая-то тут чувствовалась тактика, сговоры. Одного маленького старика молодой бровастый парень попросту отпихнул, переорал, аукционер ткнул в парня пальцем, утверждая сделку за ним, старик пытался протестовать, тогда аукционер что-то выкрикнул и больше уже не обращал на него внимания, попросту исключил его из торгов.

Старик со слезами взывал к окружающим, но слушать его было некогда. Аукционы сменялись без перерыва. Эта работа была не для стариков. Впервые я пожалел, что не имею фотоаппарата. Нащелкать бы эти физиономии – оружие, свирепые, сверкающие злостью выпученные глаза, оскаленные зубы, или вот это безжалостное лицо врага, наносящего удар. Тут не существовало ни приятелей, ни знакомых – одни враги. Каждая физиономия крупным планом, как реклама кино – кадры какого-то самурайского фильма, где идет сражение не на жизнь, а на смерть, ужас надвигающейся катастрофы, восстание, убийство – словом, под эти портреты можно было подставить любые грандиозные страсти и события, но никак не рыбный аукцион.

Гильдия перекупщиков (их насчитывалось что-то около шестисот человек) сражалась беззаветно. Они действовали точно по К. Марксу: товар – деньги – товар, большие деньги плюс маленькие деньги... Тунцы переходили из рук в руки, и каждый раз получались какие-то деньги. В редущей мгле токийского утра нарастала битва, с нее начинался столичный день. Тунцов взваливали на платформы, везли в оптовые магазины, которые располагались тут же. Ничто не изменилось в этих тунцах, пасти их были так же заткнуты хвостами, и все же это были уже другие тунцы, кто-то приобрел на них, кто-то потерял, они двигались от перекупщика к перекупщику, отдаваясь от ничего этого не ведавших, спящих в своих поселках рыбаков. На больших лотках оптовых магазинов красовались десятки, а может, и сотни сортов рыб. Под прицельным светом ламп лучились рыбы глаза, переливалась чешуя. Рыбы были переложены льдом, расфасованы в специальную бумагу, упакованы в яркие коробки, плетенки, ящички. Ребристые раковины, длинные миноги, какие-то черные с узорами змеи, крабы клешня к клешне, рыбы усатые, рыбы красные, синие осьминоги – чего тут только не было! И все это сверкало красками, тарачило плавники, и тут же не утихала работа тыкали топоры, рыбу потрошили, ее пилили электропилами, обмывали из шлангов, под ногами струилась розоватая вода. Подъезжали фургончики, автокары, тележки, новые перекупщики торопились отправить рыбу к открытию городских магазинов, в большие рестораны, ее уже ждали хозяева маленьких закусочных, всяких забегаловок. А цены все нарастали, каждый раз в мясо втыкали новую этикетку. Перед нами была действующая по всем правилам, наглядная модель капиталистического рынка. Политэкономия всегда казалась мне скучным и малонужным предметом. Кто мог подумать, что через столько лет после сданного экзамена она возникнет передо мной, играя красками, в запахах моря, рыбы, икры, в этом

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
неумолкающем гаме, плеске.

Мы переходили от магазина к магазину. Осьминоги выхвалялись друг перед другом, как манекенщицы, конкурировали всеми своими щупальцами. Похоже, что рыбы каждого прилавка были втянуты в конкуренцию. Впрочем, Конеко-сан не видел в этом никакого преувеличения, даже метафоры. Конкуренция, по его словам, пронизывает жизнь японца с раннего детства, с детского садика, который должен быть самым лучшим, хотя бы на этой улице, хотя бы лучше соседнего. Конкуренция в школе, на службе, кто кого, у кого больше телевизор, у кого лучше садик, у кого меньше собачка. В чем угодно, но вырваться вперед, обставить.

- Зато как рыбы выглядят! - сказал Конеко-сан. Рыбы выглядели прекрасно, они подчеркивали свои формы, треугольные, и шарообразные, и плоские, они демонстрировали свою свежесть, узоры на чешуе. Каждая рыбина улыбалась, пасти их были вытянуты, как для поцелуя. Круглые глаза светились, подмигивали. Всем видом они обещали блаженство, они стремились на сковородку, а главное - они стремились доказать, что они вкуснее, свежее, чем на всех остальных лотках.

Хозяин каждого магазина подбирал освещение, подбирал цвет упаковки так, чтобы рыбы выигрывали. Продавец должен быть художником: тунцы, кальмары, скаты, которые только что тянулись неразлично однообразными рядами, теперь преобразались, становились разными в зависимости от искусства продавцов.

Многообразные формы жизни, поднятые из океанских глубин, сверкали, горели, поражая своей причудливостью. Каким образом родилось это изысканное уродство химер? Или эта фантастичность четырехглазки? Природа была неистощима на выдумку и всякий раз проявляла безупречный вкус. Чего стоили сочетания цветов коралловых рыб! Казалось, все это имеет какой-то глубокий смысл, зачем-то нужно, чтобы эти рыбы были ленточные, а эти шаровидные. Но мне этого уже не узнать. Не придется попробовать их на вкус, увидеть, как их ловят. Дразня своей огромностью и новизной, приоткрылся передо мной уже недосыгаемый мир. И собственная жизнь, в который раз за последнее время, показалась слишком короткой. Я подумал, что и японского языка мне уже не выучить, и не дожить до той поры, когда люди сумеют понимать друг друга без переводчика. Ведь будет же такое время. Да, и не сменить уже специальность. На рыбалку и на ту уже не собраться. Ни на что времени не осталось. Расписание стало слишком жестким...

Глеб взял с прилавка акул плавник, поднял его жестом римского трибуна. - О вы, рыбовладельцы! - воскликнул он, обращаясь к хорошенькой японке за прилавком. - Скажите мне, ради чего природа трудилась миллионы лет, изоощряясь, совершенствуя эти организмы? Смотрите, какие диковинные вещи она придумала: вот глаза, как перископы, а этот могучий хвост словно винт корабля. И все это, по-вашему, для того, чтобы привлечь покупателя? Финиш всех усилий эволюции - прилавок? Все для рыбы, а рыбы для продажи. Все для продажи. Смотрите, на улице светает, и новые краски играют на жабрах. Кальмары порозовели. Зарделись кальмарчики! Нынешний восход солнца добавит вам еще двадцать иен на килограмм. Японка улыбочиво кланялась. Мы с господином Конеко почтительно внимали обвинителю этого рыбовладельческого общества.

- О вы, Конеко-сан! И ты, Сомов, рыбий человек с рыбьей фамилией, вы все, кто спешит мимо, не понимаете меня, и облик мой бесследно исчезает из вашей сетчатки! Вы, барышники, перекупщики, маклеры, лоточники, приказчики, торговцы! Я говорю вам - должна же быть какая-то иная цель у этой красоты! Кроме барыша и наживы! Что-то ведь и еще имела в виду природа! Милая японочка надеялась, что Глеб все же купит парочку скатов или хотя бы акул плавник.

Над улицей застенчиво румянилось теплое небо. Отъезжали розовые рефрижераторы, груженные розовыми бочками. Грузчики с узкими повязками на розово-бритых головах садились перекусить. Аукционы кончились. Город просыпался. Улицы были еще пусты, но мусорщики жгли на перекрестках маленькие костры из бумаг и отбросов. Горький белый дым стлался по мокрому асфальту. Куда-то пробежала женщина в черных брюках, с малышом за спиной, в руках она держала охапку цветов. Ночные бары были закрыты, а утренние еще не открылись.

На витринах лежали тарелки с бутафорской едой. Город не хотел вставать, он притворялся спящим. В подъезд шикарного отеля вышел швейцар. Начищенная золотая ливрея горела на нем. Он стоял, выпятив грудь, чувствуя себя генералом. Он мечтал стать генералом. Л вдруг подумал, что если бы японцы первыми придумали

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
атомную бомбу, он эту бомбу сбросил бы па американцев.

Я чувствовал, что начинается предвзятость и, что бы я ни увидел, все теперь будет питать эту предвзятость.

В переулке, за низкой оградой мы увидели камни. Они лежали, большие и маленькие, на земляной площадке. И на каждом была цена. Камни стоили дорого. Мы так долго рассматривали их, пытаюсь понять, чем же определялась их стоимость, что не заметили, как открылась мастерская. Полутемная мастерская-магазин, плечистый хозяин в халате улыбнулся нам из ее глубины, показав свои длинные, расходящиеся веером зубы, и уселся работать. Он делал очередной камень. Он орудовал резцом и молоточком, потом он водил напильником, брал какие-то пропитанные краской губки. Действия его были странны, потому что непонятно было, чего он добивается. Перед ним стоял камень, обыкновенный камень. Он скалывал какой-то кусочек, прищурясь, оглядывал и так, и этак, что-то еще выковыривал, где-то заглаживал, втирал краску.

- Он делает из обыкновенного камня хороший камень, пояснил Конеко-сан.
- Ага, он выявляет в камне камень, - сказал я.
- Как же так, что ж это происходит? - сказал Глеб. Значит, эти камни изготавливаются. Смотри, он втирает зеленую краску. Делает камень старым.
- Их покупают для всяких садов. Декоративных, - пояснил Конеко-сан.
- Значит, вот так был изготовлен и Сад камней? - спросил Глеб.

Конекo-сан успокаивающе улыбнулся:

- Не думаю.
 - Но зато сейчас наверняка изготавливают, - сказал я. - Ты посмотри, какой получается старинный замшелый камень. Сколько в нем поэзии и раздумий! На десять тысяч иен, не меньше. Хочешь, я тебе куплю в подарок? Отправишь его багажом и поставишь у себя дома. Вместо телевизора. Придешь с работы и смотри... Лицо Глеба передернулось, как от боли. Он ничего не ответил. Напрасно я так сказал, несправедливо.
- Камни стояли рядами. Все разные: мрачно-черные, округлые, угловатые. Скалистые, маленькие, как бы настольные, утесистые, в трещинах, напоминающие замки; большущие, похожие на вулкан по дороге из кимамото; театральный вулкан, откуда шел оранжевый дым и пахло серой, а кругом были желтые бетонные доты, на всякий случай, чтобы укрыться от лавы. И дальше были горы, похожие на эти камни со светлыми верхушками, или, вернее, эти камни были куда более похожи на горы, чем сами горы, затянутые понизу голубыми сетями от камнепада, а некоторые были залиты бетоном, и бетон, чтобы не портить пейзажа, был покрашен в зеленый цвет. Это были капитально отремонтированные, ухоженные горы, снабженные канатными дорогами и отелями.
- Вдруг Глеб рассмеялся и утешающе взял меня под руку:

- А хорошо, что эти камни раздражают нас. Все же, значит, мы можем отличить настоящее от подражания. Мне и в голову не приходило, что камнями здесь тоже торгуют. Дешевые копии, дорогие копии. Но, может, мы не имеем права смеяться над этим. И все равно, камни - это одно, а Сад камней - другое. Не важно, как их располагать. - Он совсем развеселился: - Ты знаешь, говорят, что древние японские художники время от времени меняли свои имена. Они не боялись как бы начинать сызнова. Все-таки это удивительно. И великолепно. И героично!
- Я не очень понял, какая тут связь с камнями, но что-то тут было. Я попробовал представить, как я, Сомов, принимаю другую фамилию, появляюсь где-нибудь в Харькове, и нет у меня ничего ни звания, ни наград, ни трудов, а есть только то, что я знаю, что умею. Ставят меня каким-нибудь младшим научным сотрудником, и все начинается с нуля. Надо доказать, что ты что-то можешь, тягаться с этими быстрыми, языкастыми, самоуверенными юнцами. Что ты для них: стареющий специалист, который не достиг за свою жизнь вроде бы ничего, кроме возраста, - следовательно, неудачник. Легко вообразить, с какими насмешками принимались бы мои замечания и всякие предложения. Бог ты мой, какое трудное это было бы испытание!.. Но зато я был бы тот, кто я есть сегодня, а не тот, кем я был... Лавочки открывались одна за другой. Хозяева выставляли к входу обычные

Сад Камней. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
счастливые амулеты торговли – больших гипсовых собак и кошек. Бежали школьники в
форменных костюмчиках, умытые, краснощекие. Шагали в свои офисы клерки. На
улицах становилось тесно. Двигались машины, автобусы, мотоциклы, в воздухе
нарастал запах бензина, запахи гари, угля, асфальта, запахи толпы, запахи
закусочных, но сквозь все это еще можно было различить свежий запах рыбного
рынка.

1971

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!